ДОБРОВОЛЕЦ

В. Дмитриев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1929



Д 53

В. ДМИТРИЕВ

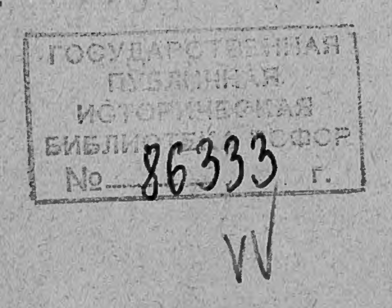
ДОБРОВОЛЕЦ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ВОЙНЕ И ПЛЕНЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

В. Дмитриев—„Доброволец". Автор воспоминаний—рядовой участник мировой войны, прошедший большой путь от добровольца старой царской армии до убежденного и стойкого добровольца-красноармейца. Записи В. Дмитриева рассказывают об унизительном и бесправном оложе ии солдата царской армии, о боях без снарядов и патронов, о тяжелых лишениях фронтовой походной жизни и жизни в плену. Они позволяют проследить весь трудный и мучительный путь, которым терпеливый (до поры до времени) царский солдат шел к революции.



Главлит А—31654 В—60 Гиз № 30814 Зак. № 8738 4 1/2 п. л. Тираж 5000

Типография Госиздата „Красный пролетарий". Москва, Пименовская, 16.

НА ФРОНТЕ.

РЕТИВЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ.

Днем и ночью мимо села громыхают буферами поезда. На платформах обозы, пушки, лошади. Из открытых настежь вагонов — песни, пляска, взвизгивание гармоники, крики, ругань. К фронту едут люди и снаряжение. Вокруг разговоры только о фронте.

А с фронта — известия о победах русских войск, о геройских подвигах солдат и офицеров, о зверствах мадьяр и немцев. И только изредка, коротко и глухо,— об «отходе по стратегическим соображениям».

Воинственный задор соседнего городишки, блестящие чистенькие офицеры, далекий фронт с лихими героями — все это будило во мне тревожные мысли и желания. А главное — скучно в опустевшей, словно придавленной деревне. С отцом — зажиточным крестьянином, строгих старых правил — я жил не в ладах и давно собирался уйти на вольную работу, в город. А тут еще дядя, сверхсрочник-фельдфебель, с фронта прислал письмо.

— Приезжай на фронт. Я уж тут крест с медалью заработал. У нас много добровольцев — примут и тебя...

Так и случилось, что я после умолота, свернув с вечера узелок, ночью ушел потихоньку на станцию, доехал до уездного города и там записался в армию. Вместо документов, которых в то горячее время не всегда и спрашивали с добровольцев, показывал дядино письмо.

— Крест с медалью. Герой. И я, мол, от него не отстану...

203-й запасной батальон, куда я попал, неприятно поразил грязью, вшивостью, скученностью. Казарма набита солдатами, как бочка сельдями. И всё запасники, бородачи — годились мне в отцы.

Фронт с первых же дней требовал пополнений, поэтому запасников готовили, муштровали, забивали головы словесностью с утра до позднего вечера. От этой гонки люди к концу дня совсем балдели. А вечером, угнездившись с ногами на нарах, латали изорванные днем рубахи и штаны или просто били вшей. В тягучих песнях изливали горечь и думы о хозяйстве без хозяина, о семье без кормильца. Домой писали частые письма. Просили:

— Напиши, сынок, писульку жинке...

И я примащивался с карандашом и бумагой под тусклым светом коптилки где-нибудь в углу или у стола, на котором днем делили хлеб.

Сидя на верхних нарах и свесив разутые ноги запасной, уставившись часто мигающими глазами в пол, тихо диктует:

— Жисть наша неважная. До темна на ученье ходим. Харчи подходящие, да вошь заедает... Опять же думы, как с хозяйством...

— Продай лошадь, уважаемая супруга, купи хлеба. Береги детишек, не обижай их. Они тебе будут подмогой в хозяйстве...

— А меня скоро не жди. Не знаю, живой ли я вернусь или нет...

Запасники с тревогой ждали дня неизбежной отправки на фронт. Я их понимал, но мне хотелось скорее уехать, вырваться из душной казарменной вони.

Скоро представился случай поднять этот вопрос перед начальством. Фельдфебелю захотелось сделать меня своим денщиком. Отказался наотрез:

— Я пошел добровольцем не затем, чтобы носить вам борщ и кашу...

— Потише, сопляк,— взревел фельдфебель,— дисциплины не знаешь? Что приказывают, то и делай.

Такой ответ возмутил меня чуть не до слез. Вот тебе и герой-доброволец!

Другим добровольцам тоже не хотелось воевать с тарелками. Обратились к ротному офицеру с заявлением:

— Не желаем таскать суп, отправьте на фронт!

Наше ретивое желание было уважено, и через две недели мы, еще необученные, уже ехали в переполненном эшелоне к фронту.

Первые встречи с живыми фронтовыми вестниками — беженцами, ранеными, и с мертвыми свидетелями — сожженными селами, вытоптанными полями — посбавили задор, приглушили веселые песни. На каждой станции, на линии, на полях, по дорогам встречались толпы голодных беженцев. Пожарища и развалины походили на кладбища. Много придорожных солдатских и беженских крестов. Эти разрушения, особенно на старых солдат, производили гнетущее впечатление.

На остановках эвакуируемые раненые рассказывали:

— Плохи дела... Наша батарея плюнет и замолчит. А он все шрапнелью кроет...

— В окопы не спрячешься—воды полно. И ночью уйти некуда...

— Палим в него из пулеметов, а у него орудий тыщи. Ну и в лежку всех кладет...

Однако всему этому как-то не верилось. Думали, как дойдем до самой позиции будет и хорошее, боевое.

— Панику распускают ребята. Ясно — раненые, либо погорельцы. Без этого войны не бывает.

Влились в 35-й Брянский полк недалеко от Карпат. С австрийцами шли упорные окопные бои. Наш полк закрепился на позиции у местечка Горлицы.

Непрерывно лил дождь. Многие заболели, эвакуировались, так и не видав боя. А мы все стояли на месте. Только в начале декабря полку приказано было перейти

в наступление. Тут на деле проверили рассказы раненых.

Австрийцы не умолкая били по окопам из тяжелых орудий вперемежку с беглым огнем полевых. Наши батареи молчали: нет снарядов. У солдат нехватало ружейных патронов.

Держаться в окопной канаве под смертоносным огнем нет сил.

— Без поддержки нашей артиллерии — гибель. Где она?.. Заткнуть бы австриякам глотку.

— Не с голыми же руками драться?!.

Всю ночь шли разговоры об утреннем наступлении. Злобились на командование. Вспоминали дом. Мой сосед, доброволец Вальдин, молодой парнишка, совсем истомился.

— Снилось мне вчера, будто я раненый поехал в отпуск. И встретил мать. Она меня очень целовала, — говорил он, жалко поглядывая на меня.

— К чему бы, это, Вась, а? Говорят, мать перед боем видеть — плохо...

Я прячу глаза и хлопаю его по плечу:

— Выживем, не хандри раньше времени...

Ранним утром вылезли из окопов.

— В атаку... Ура!

Бежал, ничего не сознавая — лишь бы вперед...

В этой атаке Вальдин был убит.

7-го декабря вновь атака: лезли по глубокому снегу, напролом, с винтовкой наперевес, обалдело крича «ура».

Как будто кроме штыков да «ура» никакого оружия и уменья не полагалось. К атаке — почти никакой подготовки, в то время как со стороны противника — проливной дождь снарядов и пуль...

На бегу над самой головой я услышал страшный треск. В глазах пошли круги, потом все пропало...

Очнулся через три дня в дивизионном госпитале. Ранение было тяжелое — рваная рана головы и контузия

в груди. Начали таскать по госпиталям: Броды, Киев, Одесса. Провалялся на койке около двух месяцев, и в Одессе в марте 1915 г. вышел в слабосильную команду при запасном батальоне.

НА ФРОНТ СО «СВЕЧАМИ».

Около двух месяцев на фронте да столько же в госпитале прошло с тех пор, как я решил испытать судьбу героя. Ушел молокососом, а теперь вон и борода щетинится, и морщины на лбу появились. Людей перевидал, речей переслушал — в деревне на целую жизнь хватило бы!.. В потоке событий мое геройство словно потонуло, забыл и думать о нем. Куда чаще вспоминались убитый Вальдин и запасники с нечесанными бородами, с бесконечными письмами-жалобами.

На кого? О чем?..

Сосед по койке, раненный в обе ноги, познакомил меня со своей сестрой Олей, которая почти каждый день навещала его. Я ходил ее провожать, а потом и гулять вместе стали по городу.

Она меня расспрашивала:

— Почему пошел добровольцем, воевать хочешь?

Хождение по госпитальным мукам и новые думы образовали трещину в моем воинственном задоре. Я отвечал надвое:

— Пошлют — буду воевать, а нет — останусь в слабосильной команде.

Ольга в первые же разговоры стала меня сбивать и с других позиций. Как-то зашел разговор о боге. Ответил уклончиво — «верю, но не твердо». Она сказала:

— Напрасно веришь. Это чепуха. Все молятся богу — и немцы, и русские, и евреи, и французы — и все просят помощи, как скорее друг друга убить...

Вскоре бог из моего сознания почти улетучился.

После этой обработки она завела разговор о войне.

— Ты думаешь — из-за чего идет война? — спрашивала она.

— Немцы напали, а мы защищаемся...

— Ты убивал немцев? — в упор ставила Ольга вопрос. — А что они тебе сделали, такие же солдаты, как ты? Война нужна царям и капиталистам...

Мое убеждение, что немцы целиком повинны в войне, колебалось. А тут случилась еще такая история...

Один из раненых, Парамонов, по излечении был признан совсем здоровым и отправлялся обратно на позицию. Перед самым отъездом он сидел на койке и с недоумением рассматривал солдатскую книжку.

— Тут записано, что мне выдали за три месяца жалованье и обмундирование, а я его и в глаза не видал...

— Не ты первый, — откликнулись ребята, — начальство за тебя получило...

— Господин фельдфебель, — взмолился Парамонов, — как же вы записали, когда я ничего не получал?

— Раз записано, значит получил, — убедительно ответил фельдфебель.

— А я говорю, что не получал.

— Ты мне указывать? — фельдфебель размахнулся и спокойно ударил Парамонова по лицу. Тот дернулся головой и, закрыв лицо руками, опустился на койку. Плечи его вздрагивали, сквозь пальцы стекали по рукам мутные капли...

Казарма зажужжала:

— Мы кровь проливаем, а нас бьют...

Фельдфебель, погрозил кулаком. Крики начали спадать и затихли совсем: каждый боялся досрочной отправки на фронт. У него на обращение с солдатом имелся свой взгляд. Он его не раз высказывал открыто:

— На скотину у меня рука не поднимается, а солдата надо бить...

И он походя бил солдат и обкрадывал. Без этого служба ему казалась неполной и нестоящей.

Об этих издевательствах я рассказал Ольге.

Через две недели она под строгим секретом повела меня на окраину города:

— Будет тайное собрание.

В небольшой комнате собралось несколько солдат, студентов и рабочих. Один студент выступил с докладом о войне, царизме и буржуазии.

Я впервые услышал новые, не казенные слова о войне. Они резко и прямо отвечали на вопросы, которые я сам себе смутно ставил. С собрания я ушел ошеломленный. Кружок я посещал еще несколько раз, до отъезда на фронт. Что это был за кружок, я не знал. В политических партиях тогда еще не разбирался. Сейчас думаю, что он был большевистским. В тот год, когда еще не совсем схлынула волна военного угара, так яростно выступать против войны, вести упорную пропаганду — могли только большевики.

Многого я не понимал, но одно казалось мне правильным: правда не на стороне богачей, затеявших войну. А самое главное — на войну, на людей и на все события я начал смотреть по-новому, более осмысленно.

★

Перед отправкой из Одессы наш батальон инспектировал грузный, со свирепым бульдожьим лицом подполковник Станкевич.

Команду построили. Начальник крикнул:

— Кто имеет заявить жалобу, выходи!

Вышло нас несколько человек. Первый солдат заявил:

— У меня черная гимнастерка, а на фронт полагается защитная. Мне не дают.

Подполковник резонно ответил:

— Если, братец, убьют, то и защитная не поможет.

Стоявший рядом солдат пожаловался:

— У меня сапоги малы, а их не обменивают.

— У костра на позиции немало сапог сожгли; где же их возьмешь?

Дошла очередь и до меня.

— Почему такой молодой? — спрашивает Станкевич.

— Доброволец, ваше высокоблагородие.

— Ну, что имеешь заявить? — полуодобрительно промычал он.

— Мы завтра уезжаем на позицию, а нам не выдали за 3 месяца жалованья, мыла, многим же не додали и обмундирование...

Усы его встопорщились. Он резко прервал:

— Кому это... нам?

— Да вот нам... 67 человекам, которые на позицию уезжают... И это у нас не первый раз: все фельдфебель зажиливает.

Этого подполковник не ожидал. Лицо его стало морковным.

— Уставы знаешь? Кто тебе дал право жаловаться от всех?

— Уставов я не знаю,— на фронте не изучали. А солдаты боятся говорить, я за них и говорю.

В ответ неистовая брань и крик:

— Арестова-а-ть! Отдать под суд!..

Задыхаясь от гнева, подполковник грузно повернулся к канцелярии.

За подачу коллективной жалобы и грубый ответ офицеру осудили на полтора года тюрьмы. Заменили отправкой на позицию:

— Загладишь на фронте свое преступление — после войны простят.

В команде встретили радостно:

— Ты хоть и под суд попал, а фельдфебеля все-таки убрали.

Сборную команду бывших под судом на вокзал повели под конвоем. Я с горькой улыбкой вспоминал, как шел

добровольцем, как нас провожали с музыкой, а теперь — ведут со «свечами».

— Верно говорили ребята в кружке,— думал я, посматривая на блестящие магазины одесских улиц, на разодетую уличную молодежь — местных купчиков и фабрикантов, на офицеров, еще не нюхавших фронта, но презрительно оглядывавших нашу группу — Верно говорили: не нужна нам война, а кому нужна, тот на нашей спине выезжает.

Под конвоем нас везли до самого Львова.

НЕДОВАРЕННАЯ КАРТОШКА.

От Львова к фронту пошли походным порядком. Навстречу ползли тревожные слухи об апрельском поражении III армии Иванова на Карпатах.

Начальство гнало обессиленные маршевые роты форсированным шагом, почти бегом, до 50 верст в сутки «на выручку». В местечке Ржешев попали под сплошной грохот орудий, заплутались в вереницах отступавших обозов. Не знали, кто справа, кто слева. Всюду огонь и несмолкающий рев. Страх цепко схватил за сердце.

Никто не скажет, кто первый крикнул: — Немцы обходят!..— Никто не знает, кто повторил этот крик, превратившийся мигом в сплошной, отчаянный рев: — Об-хо-о-о-дят!..

Сразу смешались люди, лошади, зарядные ящики. Каждый старался уйти от настигавшей сзади неминуемой гибели. Не стало ни солдат, ни командиров,— только сброд усталых, голодных, перепуганных людей Круговое зарево пожаров и гром пушек удесятеряли животный ужас.

На перекрестке на нас наскочил командир батальона:

— Стой!.. Здорово, бродяги!..

В ответ раздалось несколько сразу осекшихся голосов унтер-офицеров:

— Здра-а...

— Здорово, бродяги!.. — багровея повторил батальонный.

В ответ молчание. Подполковник повернулся и ускакал, а нас в ту же ночь погнали обратно в глубокий тыл — в Сокаль. Утром привал на часок и дальше, почти без остановок.

Шли без еды и питья, задыхаясь от пыли, взметаемой тысячами ног. Вода в колодцах вычерпнута обозами до грязи. Перед рассветом остановились на привале в деревушке.

Мой сосед по отделению, Седов, бросил винтовку оземь:

— Носил бы тебя чорт, который мне ее дал!

Подбежал офицер, командир III роты:

— Что ты сказал? Повтори!

— Ничего.

— Как твоя фамилия?

— Седов.

Голодно. Наше отделение достало картошки и начало варить. Не успел я доварить — раздалась команда:

— Становись!

Ребята говорят:

— Доваривай, а мы возьмем твою винтовку и ранец.

Подбежал фельдфебель:

— Не слышал команду, сволочь? Становись! — и ударил по спине палкой.

От боли, голода и досады я не стерпел — пустил в фельдфебеля горячим котелком. Он вскрикнул и, схватившись за голову, побежал. Я взял порожний котелок и пошел к отделению.

Перед строем ротный заявил:

— Придем в Сокаль, я с тобой расправлюсь.

В Сокале начали расправляться со всеми: гоняли с утра до вечера. В 5 часов утра — подъем. Уборка. Повзводно становились на молитву и тянули: «Бо-о-о-жеца-а-ря-я-я

храни-и-и...» После чая шли за реку Западный Буг и занимались нудным и несложным тактическим ученьем: цепь, перебежки и атака... После обеда — маршировка и вновь: цепь, перебежки, атака. Этой муштрой укрепляли дисциплину. В город не пускали. Вечером поверка и перед сном опять: «Царствуй на страх врагам...»

В начале мая, в царский день, занятий не было. По сараям, где мы стояли, утром забегал офицер:

— Третья рота, становись!

Повели за город на плац, где проводились занятия. Солдаты недоумевали:

— Куда идем?.. Зачем?.. Занятий ведь нет.

Роту на плацу построили четырехугольником, лицом внутрь. Из середины вышел ротный и зачитал приказ по батальону:

— ...Рядового первого взвода Седова за оскорбление его величества подвергнуть наказанию... 25 розог.

— Рядового Дмитриева за неисполнение приказания фельдфебеля и оскорбление действием... 15 розог.

Меня и Седова обезоружили, приказали выйти на середину роты, раскатать скатку, расстелить шинель, спустить штаны и лечь. Седов лег. У меня от стыда и злобы закружилась голова: остался стоять. Меня свалили. Один из унтер-офицеров сел на ноги, другой на шею, и началась порка. Пороли тоже унтер-офицеры.

На команду «подняться» я остался лежать. Изо рта шла кровь от закушенной губы. Меня подняли, одели, но винтовки не возвратили.

Роту построили. Раздалась команда:

— Шагом марш! Запевай песню.

Молчание. Вторая команда. Вновь молчание.

Понурыми, без песен, без разговоров, дошли до сараев.

Унтер-офицеры говорили, что порка — благодать и введена по приказанию главнокомандующего Николая Николаевича; раньше за это расстреливали.

После, уже в гражданскую войну, будучи комиссаром, я проходил мимо злополучного плаца и вспоминал:

— Вот здесь меня начали по-настоящему учить большевизму.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Это была суровая наука для меня, добровольца. С тех пор я никогда не говорил о том, что я доброволец, и стыдно бывало до боли, когда об этом вспоминали другие.

После случая со мной и с Седовым наш батальон расформировали. Повидимому, потеряли всякую надежду исправить. Меня вместе с другими ребятами в мае 1915 г. отправили в 32-й Кременчугский полк, стоявший в Галиции, около местечка Разводово. По разговорам офицеров и унтеров, по тайным слухам, передававшимся по солдатскому «радио» с глазу на глаз, мы чувствовали, что готовится новое наступление.

Штаб полка стоял в лесу. Прибывающих пополненцев — вместе с нами их было около 300 человек, больше молодых, только что призванных — тут же разбивали по ротам. В тот же день после обеда на полянке был устроен торжественный молебен. Из «циновок» (цинковых коробок) сложили алтарь. Ротные певцы составили хор.

После молебна полковой поп освятил несколько коробок с патронами и замахал крестом — подходите прикладываться. Подходили к попу по очереди. Он брызгал в лицо водой, давал каждому по пятку патрон и напутствовал:

— Ни одна пуля из этой освященной обоймы не пройдет мимо немца...

После этой церемонии с речью к солдатам обратился седой капитан:

— Братцы! Вы все старые солдаты, бывшие на позиции, и вы должны показать пример молодым, как нужно драться с немцами...

Не успел он кончить, как над головами взвыл немецкий снаряд и разорвался в леску, саженях в ста...

Капитан и батюшка с неожиданной быстротой исчезли в блиндаже. Мы попадали на землю. Из блиндажа они больше не показывались.

Солдаты смеялись:

— Немца стращал святыми патронами, а сам полы подобрал и в штаны напустил...

Но смех был невеселый. Каждый сознавал, что молебном подменялась серьезная и нужная подготовка к наступлению. Пяток освященных патрон должен был заменить сотни тысяч пуль и тысячи снарядов, которых не было.

В действительности так и случилось.

В последних числах мая Кременчугский полк получил приказание наступать.

Как и всегда, с рассветом без артиллерийской подготовки (снарядов не было) солдаты цепью двинулись на немецкие окопы. Немцы открыли ураганный артиллерийский и пулеметный огонь. Солдаты падали, как подрезанные.

Удалось добраться до проволочных заграждений. Дальше, подавленные огнем, мы двигаться не могли. Немцы продержали нас под обстрелом до вечера. Вечером солдаты не выдержали и в беспорядке бежали в свои окопы.

Из нашего взвода вернулась четвертая часть. Весь полк потерял около 2 тысяч человек.

Обычно после больших потерь шли огульные повышения. На место выбывших командиров назначались новые, чтобы после следующего боя вновь производить замену. Понятно, что с назначением младшего командного состава особенно разбираться не приходилось. Назначались более расторопные и грамотные солдаты. Да и таких нехватало. Поэтому немудрено, что меня, как хорошо грамотного, ротный командир, прапорщик Зверев, сначала назначил

ефрейтором, а потом, вместо убитого в последнем бою — взводным командиром. Обстоятельства вынуждали замещать должности младших офицеров политически не совсем благонадежными людьми...

К ночи стрельба затихла и наступила мертвая тишина, изредка нарушаемая криками и стонами раненых, не подобранных с поля боя. Было жутко. Солдаты хмуро вздыхали:

— Жалко землячков...

Стоны притихли только на второй день. Некоторые из раненых доползли до наших окопов. Остальных подобрать было нельзя — по санитарам открывали огонь. На третью ночь потянул ветерок, и на солдат пахнуло удушающим трупным смрадом...

После этого боя началось беспорядочное и стремительное отступление от Сана. По болотам и топям с грохотом и руганью катился без удержу и остановок людской и лошадиный неукротимый поток. Деревни и пашни разворовывались, опустошались, превращались в разоренные пустыри.

В еврейских местечках — пусто. Окна без стекол походили на глазные впадины мертвецов. В домах — обломки и остатки домашнего скарба. Все, что можно, — разбито, поломано, разорвано.

Вместе с отступающей армией позорным шквалом несся по селам еврейский погром. Командование всю вину в поражениях свалило на евреев. Распространялись слухи:

— Нашли телефон у жида в сарае — передавал австрийским батареям сведения о нашем расположении...

— Пошли наши в атаку, слышат — по-русски кричат: «Не стреляйте — свои». Стрелять перестали. А те подошли и половину перебили. Оказалось, что два еврея — немецкие шпионы — нарочно кричали...

Такая же клевета зачитывалась в приказах о шпионах-евреях.

К этому привыкли, как и к молебнам. Знали: раз приказ о евреях — значит дела плохи. Надо же на кого-нибудь свалить свою вину! Также надо дать выход и солдатской муке. Пусть потешатся... Но это с каждым днем удавалось хуже.

Солдат переставал доверять власти и командованию.

В ПЛЕН.

Меня вызывали в штаб полка, приглядывались, расспрашивали. Я почуял — дело нечисто. Грехи свои вспомнил: суд, порку... Решил быть настороже. Но дело повернулось иначе.

В начале июля снова шли сильные бои. Снарядов, как и раньше, не было. Немцы наступали, а нам запрещали расходовать патроны:

— Работайте штыком, патронов нет.

Питание ухудшилось. Недовольство среди солдат росло. Под эти настроения подпал и я. Землякам говорил:

— Побьют нас и сами не знаем, за что...

Но солдат разжигать уже не нужно было. Грязные и промокшие до костей, они кляли и бога, и царя, и мать. Один из запасников грозил в сторону тыла и неистово ругался:

— В пятом году в Питере для рабочих: «патронов не жалеть», а для австрийцев — нету? Уже все вышли?..

Словно нарочно, под Красником, проходя по постам, в лесу я наткнулся на несколько листовок. В них говорилось:

— ...Войну ведут помещики и царь за свои интересы.

Листовки я спрятал в пазуху. Вечером тайком собрал близких земляков и прочитал им одну.

— Наверное забастовщики, сицилисты подбрасывают...

— Кто ее знает, — осмотрительно говорили некоторые, — разве поймешь, за что идет война. Одно видно — продают нашего брата...

5 июля из штаба полка в нашу роту пришел посыльный с пакетом и принес письма. Знакомый писарь передал мне через него:

«В полк пришла бумажка о том, что ты был под судом и чтоб за тобой присматривали. Я слышал разговор адъютанта полка с твоим ротным. Он недоволен твоим мягким отношением к солдатам и считает тебя ненадежным»...

У меня закралось сомнение, не узнали ли они о листовке и одесских посещениях кружка. Припомнился и разговор с ротным после порки в Сокале:

— Если оскорбишь еще раз офицера — тебя расстреляют...

Решил сдаться в плен. Случай скоро представился.

Ночью на 7 июля я был послан со взводом в разведку. На восходе солнца мы с опушки леса увидели невдалеке австрийские окопы. Подзываю земляков и говорю:

— Идем ребята в плен. Рано или поздно нас побьют, а в плену хоть живы останемся...

— Идем, хуже не будет.

Подошли к взводу:

— Кто хочет — пойдемте сдаваться в плен.

Солдаты оторопели.

— Как? Зачем? Что?..

Поднялся галдеж. Я первый раз в жизни обратился с речью:

— Воевать и подставлять себя под убой без патронов и снарядов — дураков нет. И какой толк, братцы, от того, что нас, как скотов, на войне побьют? Война нам не нужна. За что воюем?..

Ополченец-калужанин, Максимов, бросился ко мне с плачем:

— Неужели я теперь жив буду?.. Ведь у меня шестеро детей!

Этот крик бородатого солдата тронул в каждом затаенные, наболевшие чувства. Побросали винтовки. Надели на штык белую рубаху и вышли на опушку леса.

Показалась австрийская разведка. Я крикнул:

— Панове!..— и замахал рубахой.

Подошедшему капралу объяснили, что мы сдаемся в плен. Он заулыбался:

— Карашо!.. карашо...

Сначала гурьбой, потом выстроившись, мы бодро зашагали к австрийским окопам.

В ПЛЕНУ.

ОТВОЕВАЛИСЬ.

На войне я ждал необыкновенных приключений. Но их не оказалось. Ни храбрости, ни ловкости не понадобилось. Скотское безразличие к людям и грохоту орудий, терпение и безропотное, безвольное послушание требовались от солдата царской армии. Вместо битв и сражений, где творятся чудеса храбрости, — грязные и вонючие окопы, вши и бессмысленный убой тысяч людей.

Эти мысли бродили в голове, а ноги шагали в такт с сотнею других таких же ног, обутых в одинаково рваные солдатские ботинки. На пути встречались следы недавних боев. Через дорогу и по полям тянулись неровные цепи брошенных окопов. Попадались свежие насыпи с крестами. Всюду осколки снарядов, патроны, гильзы, солдатские рукава и голенища. Трупов нет. Должно быть успели убрать за время сиденья в окопах. О них и не думалось в те минуты короткого перехода к окопам вчерашних врагов.

Врагов? Они шли рядом, такие же заросшие щетиной, обветренные, грубые. Только разве почище немного, чем мы, да другая форма...

Всю дорогу разговаривали. Плохо, но все же понимали друг друга. Коротконогий калужанин Максимов, стараясь попасть в ногу с длинным худым австрийцем, тормошил его руками и заглядывал в лицо, скаля крепкие белые зубы. Австриец отвечал тем же и широко размахивал свободной от винтовки рукой. Капрал упорно старался

разъяснить мне что-то, показывая пальцем на меня, на солдат и широко разводя руками и растопыривая пальцы. После я понял, о чем он говорил. Он хотел показать, что мы — не первые, что в штабе корпуса, куда нас приведут, таких добровольных пленных уже несколько тысяч.

Час пути — и мы в штабе 84-го австрийского полка.

Старший конвоир ушел докладывать. Нас окружили австрийские солдаты: русины, поляки, чехи. Угощали куревом, хлопали по плечу, задавали вопросы уже на более понятном, родственном языке:

— Почему сдались?

— А как там у вас?

— Скоро ли будет ваш царь мириться?

Дружелюбные отношения ободрили наших ребят. Они отвечали и в свою очередь спрашивали:

— У вас пленных кормят?

— Не бьют?

— Письма писать домой можно?

— Младший унтер-офицер 32-го русского полка, идите сюда! — раздалось на чисто русском языке.

Я прошел в штаб, где был учинен быстрый допрос.

— Сколько в вашем полку людей, пулеметов, кто командует?

— Есть ли артиллерия, снаряды, патроны?

Искренно отвечал я, что мне это неизвестно. Дал сведения только о своей роте.

Недоуменный и недоверчивый взгляд:

— Удивительно! Унтер-офицер не может не знать, что делается в его полку. Если вы говорите правду, то у нас рядовой солдат больше знает.

В штабе корпуса та же процедура с допросом, то же удивление.

Два дня держали нас в корпусном тылу, в усадьбе, окруженной сосновым бором. Охрана следила зорко, но без насилий и грубости. С фронта доносился беспрерывный орудийный гул.

На рассвете третьего дня мы проснулись от шума: пришла новая партия пленных.

— Земляк, какой части?

Из толпы спокойный ответ:

— Все тут: кременчугцы, алежеевцы... Да почитай вся 8-я дивизия!

И радостный возглас:

— Отвоевались!

Мы рады своим однополчанам. Поиски земляков, товарищей, расспросы.

К вечеру пленных набралось около десяти тысяч. Всех нас под конвоем мадьярских уланов отправили в глубокий тыл.

Почти всю ночь шли по песчаной, зыбучей дороге. Душно, пыльно, воды нет. Мадьяры обращались зверски, не то, что русины. Отстававших нещадно били палками:

— Форвертс, форвертс (вперед, вперед)!

Утром остановились в каком-то селе. Жители — поляки. Встречают враждебно.

Они припоминали недавний разбой наших солдат и злорадно издевались:

— Пся крев: «давай курку, давай млеко!»

Отказывались что-либо продавать.

Под проливным дождем остановились на выгоне. Те, у кого не было шинели или палатки, — зябли. Настроение паршивое. Возглас:

— Ванька, Ванька, смотри-ка: Зверев (командир роты) наш! Мокрый, да и шинели у него нету...

— Вон и батальонн-а-а-й... Пузо-то поубавилось!

К нам приблизилась группа офицеров. За ними конвой.

— Ваше благородие, здравствуй!

— Без шинельки-то плохо!

— Да наверное и голодные; холуй-то сегодня курицу не прине-ес!

Те пытались быть приветливыми.

— А, здравствуйте, кременчугцы!.. Нет ли у кого, братцы, лишней шинельки или палатки продать?—полузаискивающе спрашивали солдата ротный и батальонный.

Конвой разговаривать офицерам с солдатами не позволял. После уговоров — разрешили сделать покупку.

Выискивается охотник:

— Ваше благородие, покупай, вот палатка, совсем новая!

— Дорого ли, братец, за нее хочешь?

— Уж так и быть, для вас не жалко: три рублика-с. Как своему батальонному командиру... — развязно и бойко торговался солдат.

— Что ты, обалдел, что ли? Австрийцам за полфунта хлеба отдаете...

— Не хочешь, не надо, — повернулся, собираясь уходить, солдат. — Вот помокнешь денек, и красненькую дашь!

Офицеры возмущаются и понуро уходят.

Солдаты, довольные развлечением, хохочут.

В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ.

Несколько тяжелых переходов, и мы в знакомом Ржешеве. В поле за городом выдержали восьмидневный карантин.

Шли почти беспрерывные дожди. Пытаясь укрыться от них, мы рыли ямы, накрывая их шинелями и палатками. Бесполезно.

Кормят впроголодь. На жалобы и просьбы пленных ответ:

— Да где же мы вам наберемся? Ведь вас пятнадцать тысяч — целая армия... Выдержите карантин, поедете в лагеря, там будет лучше.

Дождь, голод, холод — делают свое дело. Санитарные повозки каждое утро увозят десятки тяжело больных. На восьмой день ропот, отчаяние:

— Все передохнем здесь!

— Да тут и закопают...

На малодушных находило раздумье:

— Может быть, и не нужно было сдаваться?..

Земля глинистая и вязкая. В ямах-логовищах вода. Вычерпывали котелками. В перерывах между дождями вылезали и грелись на солнце. По вечерам у костров били вшей. Развилась картежная игра, а с нею воровство и драки.

На девятый день наконец окрик:

— Становись!

— Идем на станцию в лагеря! — разнеслась весть по становищу. Откуда-то и силы прибавились. Быстро построились.

— Там хорошо, кормить вас будут, обмоют. Всех ваших русских вшей побьют, — ободряют конвоиры. Это уже не мадьяры, а старые ландштурмисты — чехи, поляки.

Затянули песню:

— О-ой, на горе калина-а-а... О-ой, на горе калина-а-а... Ка-алина-калина-а!.. Чубари-ки-чупчики, кали-на...

«Чубарики-чупчики» несутся по улицам Ржешева, через который еще недавно отступала «победоносная» русская армия.

Два дня езды в переполненном вагоне — и мы в Нижней Австрии, в Визельбурге, в карантинном лагере. Из вагонов погнали в баню. Нужно отдать должное австрийцам, санобработку они производить умели. Всю обильную растительность парикмахеры сняли электрическими машинками. После подводили к бочке с зеленым мылом: — Намыливайся с ног до головы, — распоряжался санитар, — и под горячий душ. Несколько русских фельдшеров под присмотром австрийского врача наблюдали за мытьем. Расчесы зудили. В другом конце бани — противотифозная и оспенная прививки, чистое белье, свое обмундирование, и в нем — ни одной вши! Все «внутренние враги» остались в дезинфекционной камере.

Разбивка: тысяча человек — батальон, двести пятьдесят — рота. Батальонные и ротные — русские пленные фельдфебеля, старшие унтер-офицеры.

— Рота — в барак, шагом арш!

Недосыта, но покормили. И хотя на голых нарах, но эту ночь все спали, как убитые: вши не тревожили...

Потекла монотонная жизнь концентрационного лагеря. В 6 часов утра:

— Москали, вставай, вставай! Кофе тринкен...

Жиденький сурогат кофе — без хлеба. По фунту кукурузного получали с вечера и сразу съедали. Делить на весь день еще не умели.

До обеда шесть часов. Делать нечего. Слоняешься вокруг бараков. Подтягиваешь ремень туже. Около бараков много не разгуляешься — кругом колючая проволока. Земляки собираются по группам. Злоба дня — последние впечатления о фронте и плене.

— Как вам не надоедает все фронт да фронт? Да хай его чорт заберет! Сейчас навернуть бы краюху ржаного, да щец с кашкой гречневой... Мастак у меня баба насчет гречневой кашки!..

Вздох...

— Как-то она там с малыми мается?.. Эх, и жисть ты наша распроклятая!

Бородач вскочил, смахнул шершавой рукой слезу и нервно зашагал прочь.

Желанный звон колокола: на обед!

— Моя, моя очередь итти за баком!

— Нет, моя-я!..

Вырывая друг у друга огромный цинковый бак на 50 человек, бежали на кухню. Там иногда удавалось сверх порции поглодать кости с непроваренными жилами мяса.

Обед принесен. Длинная очередь у баков с кукурузной мутной мамалыгой. Каждый, подставляя свою шальку (котелок), жадно смотрел на черпак раздатчика.

— Погуще, браток, погуще! Не обижай земляка...

Скудный обед уничтожался жадно.

— Ванька, Ванька, мясо попалось!

— Да не мясо, а иго-го! (Так звали конину.)

— Тьфу ты, окаянные!.. Не дадут спокойно поесть, — не выдерживал сибиряк-бородач.

Начиналась «подначка».

— Ты, родной, потише зубами-то нажимай...— окая басил владимировец,— неравно шрапнель в мясе-то есть. Мне вчера пуля попала...

— Брешешь?

— Вот-те хрест! Мне земляк на кухне говорил. В бочках соленую с фронта конину-то привозят. Резали, дык осколок от шрапнели нашли...

Сибиряк не выдерживал — он старовер, — громко плевал, морщился, но голод не тетка: котелок очищался до блеска.

После обеда спали вповалку. Не спится одиночкам. В животе сосет, мамалыга только растравляет аппетит. В голове дума:

— Неужто так долго будет? Скорее хотя бы на работу отправляли...

Однажды неожиданно заиграла музыка. Над лагерем взвились австрийские флаги. Музыка гремела национальный гимн. Приодетые австрийцы ходили подвыпивши.

— Пан, пан, что такое?..—расспрашивали пленные.

— Варшава — капут! Русская армия—капут!

Через переводчика мы узнали о сдаче Варшавы, Новогеоргиевска, Иван-города, о десятках тысяч пленных, о громадных потерях русской армии. Весть мы приняли нерадостно. Была досада на русское командование, было больно за десятки тысяч погибших солдат.

— До каких же пор наш брат будет гибнуть?

— Кошке — игрушки, а мышке — слезки.

— Довоевались!

— Землю получите, обещали нам офицеры. И дают: по три аршина, да и то на десяток, либо на фронте, либо от голода в Австрии — сдохнешь в общей яме.

— Будя, потерпели... Придем с плену — бар-то пощупаем трошки.

Я не выдерживаю; боль, обида накипели в груди. Вспоминаю речи, слышанные в подпольном одесском кружке.

— Земляки! Сказывали мне добрые люди, что не за землю мы воевали, которую будто царь обещал, а царю да господам нужны австрийские да турецкие земли!.. Им война-то нужна. А наш брат только гибнет. Вот чего разжевать надо, как вернемся.

Земляки замолкли и подались ко мне.

— В девятьсот пятом году рабочие бастовали, царя да помещиков хотели скинуть, а мы, крестьяне, им не помогли. Теперь поможем! Довольно, напились нашей кровушки!

Гул одобрения покрыл мои слова:

— Правильно-о!

— Мы им, землячок, пока-а-жем!

Взволнованный и смущенный своим выступлением и неожиданной поддержкой, я вышел из толпы.

Ко мне подошел пожилой унтер и угрюмо сказал:

— Ты, паренек, не дюже расходись. Немало я вашего брата после пятого года в Сибирь потаскал. Вернемся — доложу первому коменданту, и будешь на столбе болтаться. Он выразительно показал вверх.

— Ну, ну, не пугай,— отступил я от него. Он что-то буркнул и отошел.

Вечером того же дня ко мне подошли Яша Мейер и Иван Малоросов. Первый интеллигент, второй рабочий-питерец.

— Вот что, друг,— сказал Мейер,— если ты понимаешь, о чем говорил, то говори с опаской. Тут хоть и Австрия, а наверное за нами следят. Вот обживемся немного, подберем своих ребят, тогда и начнем работенку.

Этим разговором было положено начало группе, которую Мейер назвал «революционной инициативной группой».

ПОБЕГ.

В конце августа всех пленных погнали на работы. Наша, 730-я рабочая партия военнопленных была отправлена в оккупированную русскую Польшу, в Домбровский уезд, для работы по ремонту железных дорог.

Переменой жизни мы были довольны, несмотря на то, что нам, истощенным от недоедания, приходилось выполнять тяжелую работу. Общение с рабочими, которые относились к нам сочувственно, возможность заполнить чем-то день — помогали легче переносить суровую, безрадостную жизнь. К тому же здесь мы были ближе к родным местам и надеялись на быстрое возвращение после войны, конец которой, очевидно, приближался.

Здесь начала развертывать свою работу и наша инициативная группа. Достали кое-какую литературу на русском языке, устраивали групповые читки.

Вскоре, однако, все пошло на смарку. В начале марта неожиданно на смену нашей партии прибыли пленные итальянцы. Нас же отправили для работ в прифронтовую полосу австро-итальянского фронта недалеко от швейцарской границы.

Переезд подействовал на нас угнетающе. Здесь война давала себя чувствовать. Налеты итальянской авиации все больше вырывали из наших рядов убитыми и ранеными. Через месяц терпеть стало невмоготу — тяжелая работа, постоянное недоедание изнуряли.

Узнав, что были случаи побега пленных через Швейцарию к союзникам-итальянцам, я решил бежать с одним из своих товарищей. Мы знали, что у союзников нас хорошее не ждет, но оставаться не было сил. Втайне надеялись, что итальянцы отправят нас домой, в Россию.

К середине апреля запасли кило-два сухарей и, возвращаясь однажды поздно вечером с работы, незаметно отстали от партии и пошли к границе. Пройти надо было 50—60 километров. Итти можно было только ночью и ранним утром, и мы плелись до границы пять дней. Утром на шестой день, встретившись с крестьянином, узнали, что мы уже в Швейцарии.

Оставаться в Швейцарии не хотели, боялись выдачи нас австрийцам. В одном из хуторов удалось на запасное белье выменять буханку хлеба и картофеля. Шли уже смелее, днем. Расспрашивали о дороге встречных крестьян и на третий день ночью наткнулись на итальянские пограничные посты. Оттуда вместе с другими перебежчиками, собранными около границы, нас отправили в Милан.

В Милане погнали к русскому консулу.

Разговор с ним был короток.

— Куда же вы хотите? — задал он равнодушно вопрос, как, вероятно, задавал его каждый день всем перебежчикам.

— Да мы хотели бы в Россию. С родными повидаться.

— В Россию пробраться трудно. Оставайтесь пока здесь.

Нас отвели в бараки, где оказалось еще много русских солдат, взятых в плен на австрийском фронте. Нас встретили смехом:

— Вы откуда, с фронта или «летчики» (бежавшие из плена)?

— Попали из огня да в полымя!

— От войны не отвертишься и здесь: вместе с союзниками пойдем воевать.

Через неделю нас направили в русский батальон при 36-м запасном итальянском полку. Командирами были, как правило, итальянские офицеры. Итальянские солдаты относились к русским внешне радушно, называли «коллегами». Настроение у них было патриотическое. Русского царя не любили: «не умеет воевать».

Жизнь в итальянской армии нам сначала понравилась. Итальянские офицеры мягче обращались с солдатами. Распорядок жизни более культурный. Пища вкусная, особенно нравился солдатам итальянский полубелый хлеб.

Вечерами, после дневного ученья, итальянцы любили петь. Калужане, владимирцы, тамбовцы рассаживались полукругом и слушали незнакомые звучные и красивые мотивы. Довольные певцы, смеясь, спрашивали:

— «Коллега», боно (хорошо)?

Русские одобрительно кивали головой:

— Боно!

Итальянцы просили петь русских. И, когда мы затягивали «Чубарики-чупчики, калина», они искренно смеялись.

Но песни пели недолго: в начале июня нас погнали на австрийский фронт. И уже не «за веру, царя и отечество», а за Италию, за короля Виктора Эммануила. Вслед отъезжающим раздавалось не «ура», а «савойя». Но от этого было не легче. Слышались вздохи:

— Эх, лучше бы оставаться в Австрии!

Снова началась окопная боевая страда. Русских обычно посылали в наступление первой цепью. В одном из боев под Триестом итальянский офицер с криком: — Синьоры, синьоры! Аванти! Савойя! (господа, господа, вперед! Ура), — бил отстающих стэком по лицу.

После боя, в окопах, солдаты подшучивали над одним из избитых:

— Ну что, брат, попало? Не лучше, чем в русской армии!

Тот раздумчиво поскребывал в затылке, потирал вздувшийся на шее багровый синяк:

— Да как сказать. Кормят хорошо, обмундирование исправное и господами называют... а палкой все-таки бьют! Знать, одна статья, за какого царя ни воюй...,

За Италию воевали недолго. В одном из боев в начале сентября 1916 года рота, где я служил, была целиком захвачена в плен австрийцами.

РЕВОЛЮЦИЯ.

На этот раз нас отправили в Чехию, в концентрационный лагерь под Иозенштадт. Здесь я начал заниматься чешским языком. Чешский язык мог пригодиться и при побеге, и легче можно было найти работу.

Учителем моим был старый чех-конвоир, сын которого находился в русском плену. Относился он к нам, как и другие, дружелюбно, так как чехи считали русских родственными по крови.

Через $2^1/_2$ месяца я уже свободно разбирался в чешских газетах.

В конце декабря из лагеря набрали партию рабочих из 150 человек и отправили на лесоразработки в район Мезельбот, в Карпаты.

Снова потянулась однообразная жизнь. Из России шли все более тревожные вести: развал, злоупотребления, продовольственная неурядица.

В один из мартовских вечеров прибежали в бараки возбужденные конвоиры:

— В России революция... Царя-батюшку долой!

С нар повскакивали. Молодежь встретила неожиданную радостную весть восторженно, старики же из сибиряков — недоверчиво:

— Это вранье. Австрияки нарочно. Они всегда про Россию только плохое пишут...

Эти подозрения смущали многих. Слишком горячо к сердцу приняли пленные весть о свободе.

— А и впрямь, не наврали ли австрияки?

По ночам ворочались, не могли уснуть от беспокойных дум. С вестью о революции мы связывали оконча-

ние войны, возвращение домой, землю... Словом, все хорошее.

В середине апреля, приехав из леса в местечко за получением продуктов, я встретил там одного военнопленного из 730-й партии, из которой я бежал в Италию. Он рассказал, что партия осенью была с итальянского фронта переведена в С. для работы на лесопильном заводе.

— А там ли Мейер, Малоросов, Цилин?..

— Все там. Частенько тебя вспоминают. Вали, переводись туда на работу...

Главная контора мое ходатайство удовлетворила, и я был переведен в С.

Первый день прошел в оживленных разговорах со старыми друзьями. Узнал, что инициативная группа работает успешно: большинство пленных ей сочувствуют. Одна беда, плохо с литературой.

На другой день принялся за работу, возил на вагонетке с завода отработанный лес.

Мысли о революции не давали покоя. Новые известия в газетах по вечерам в бараках вызывали целые дискуссии. Среди пленных равнодушных не оставалось. Все разделились по группировкам. Основной спор был о том: правду или ложь пишут в газетах? Нередко такие дискуссии оканчивались драками. Наконец споры затихли, утряслись. По-разному отнеслись к революции пленные, но сомнений в ней уже не было.

Революция не замедлила отразиться и на мелочах нашего быта. По заведенному еще в лагерях порядку, перед сном пленные становились петь молитву — заставляли австрийцы. Теперь от «боже царя» отказались. Часть молодежи и вовсе молиться перестала, а во избежание конфликтов — уходила из бараков. Однажды до молитвы я и Малоросов разделись и легли.

Старики закричали:

— Становись на молитву!

Мы увлеклись разговором и не встали. К нам подошел один из запасных:

— Ну, а вы что? У вас бога, што ль, нету?

— У вас есть, так и молитесь...

— Ах вы, молокососы! Разошлись, так и бога стали забывать?

— Отстань! Катись ты со своим богом...

Рассвирепевшие старики подбежали с кулаками. Выручила молодежь, подоспевшая на подмогу.

С этого дня на молитву уже не становились. Молились, кто как хотел и мог.

В Россию тянуло непреодолимо. Весна. Воздух пьянит. Распустившиеся буйной зеленью деревья зовут к труду, напоминают о бесхитростных тульских просторах. Вдали холмистые Карпаты с снежными шапками. Кажется — взойдешь на них и увидишь русские окопы. А там родные обновленные поля. Там — свобода...

С Малоросовым мы подолгу строили планы и через несколько дней решили «лететь». Малоросов подготовил еще одного товарища, Петренко. Принялись запасать хлеб, самое необходимое для побега. Друзья стали нас отговаривать, но мы не сдавались. Тогда Мейер и другие решили нам помочь. Они организовали хор и пляски и этим отвлекли внимание конвойного, стоявшего у ворот. Нам троим удалось бежать.

ЗА НОВУЮ РОССИЮ.

Шли по звездам в сторону фронта, лесом, через балки и горки, стараясь дальше уйти от завода. Шли и днем.

На четвертый день запасы иссякли. Пришлось заходить по вечерам в одинокие халупы за продовольствием. Жители-русины нас радушно принимали, кормили и давали на дорогу картошки.

Но чем ближе мы подвигались к фронту, тем труднее приходилось доставать пищу. Дня два ели траву и ща-

вель. На десятый день мы пересекли Карпатский хребет и вышли на предгорья. Расположились на отдых в лесу. День был тихий и ясный. Малоросов вдруг встрепенулся, вскочил.

— Колька, что ты?

— Тише, тише... Слышите? — сдавленно прошептал он.

Вдали послышался раскатистый гул.

— Это гром, гроза, наверное...

— Какая гроза! Орудия ухают... Не слышишь?

Прислушались,— да, орудийные выстрелы.

До отдыха ли тут?

Мы зашагали на выстрелы и поздно вечером вышли на окраину какого-то села. Крестьянин-русин махнул рукой на север:

— В шестидесяти километрах город Станиславов, там фронт...

Из опасения натолкнуться на австрийские части, решили итти только ночью. На рассвете следующего дня орудийный гул мы слышали уже явственно. Ноги были в крови. Но близость фронта подбадривала, и мы почти без отдыха шли, обходя встречающиеся селения. К вечеру остановились в лесу. Начали обсуждать, как лучше переправиться через фронт:

— Итти ли напролом, или же ожидать наступления, скрываясь в лесу?

К определенному решению не пришли:

— Пойдем ближе к фронту, посмотрим...

Гул орудий раздавался все ближе и ближе.

На пути быстрая глубокая речонка. Плыть побоялись, нет сил. Решили искать мост. Долго шли вверх по течению на запад и только в полночь неожиданно наткнулись на дорогу: смотрим — маячит мост. Притаились. Никого не видно. Осторожно выйдя на дорогу, быстро пошли к мосту. По мосту побежали. Еще немного. Навстречу окрик:

— Галт! Верда? (Стой! Кто там?)

Из-под дерева вышли две фигуры с винтовками. Охрана моста. Мы объяснили, что бежим из плена в Россию.

...Перед рассветом в полевой австрийской жандармерии короткий опрос. Наш усталый, полуобморочный вид вызвал сочувствие даже у жандармов. Один из них молча вышел и принес хлеба и картофель с кислым молоком.

Через два дня прибыли в концентрационный лагерь — тюрьму Глембока. Мы должны были за побег отсидеть полтора месяца в лагере, а потом ждать отправки на работу.

Спустя два месяца, в конце июля в наш лагерь привезли около сорока пленных, взятых в июньском наступлении. Разговор, манера держаться, вид — уже отличали их от прежней серой массы. Это были другие люди.

Рассказывая разно об эсерах, меньшевиках, большевиках, они сталкивались.

— Ты за кого?

— Я за эсеров.

— А я за большевиков...

Сочувствующие большевикам рассказывали, что Ленин и большевики за мир. Большинство прибывших стояло за большевиков. Эсеровские взгляды защищали одиночки. Наша тюрьма целиком была на стороне Ленина: он стоял за мир, а мир — это конец мукам, конец тяжелого плена. Мир — это дом, хозяйство, семья, новая Россия. Нетрудно догадаться, что и наша тройка стояла «целиком и полностью» за большевиков. За свои новые убеждения, которые нашли теперь своего выразителя, свои слова и имя, — мы стояли горой.

По лагерям в то время разъезжали галицийские православные попы с религиозными проповедями, исповедями и причастием. Один из них, маленький, щупленький попик, заявился и в наш лагерь. Объявили, что вечером будет всенощная, а после исповедь. Попу нужен был дьячок. Администрация предлагала пленным выделить его из своей среды. Религиозная часть пленных в дьячки на-

метила меня как более грамотного и одного вольноопределяющегося-екатеринославца Васильченко. Мы запротестовали. Большинство пленных тоже не хотели иметь дела с попом. Начальник тюрьмы вызвал нас из толпы и приказал приступить к исполнению обязанностей. Васильченко, лучше меня говоривший по-немецки, заявил, что мы в бога не веруем и помогать попу не будем.

— Я вас заставлю! — закричал капитан.

— Вы не имеете права насиловать нашу совесть. Мы теперь свободные граждане русской республики.

За пререкания меня посадили в карцер-одиночку, а Васильченко предали военному суду.

На третий день я объявил голодовку:

— Не выпустите в общую камеру — сдохну, а есть не буду.

Продержался пять дней. Силы иссякли, лежал на полу. Внутри горело: пил воду. На шестой день капитан обо мне вспомнил. Пришел в камеру и положил на стол колбасы, белых сухарей, хлеба, поставил вино, предложил есть. Я отказался.

Капитан оставил все это в камере и вышел. У меня текла слюна от одного взгляда на расставленную снедь. Лег ничком на пол. Войдя снова, капитан в бешенстве крикнул: — Проклятая русская свинья! — и, ткнув меня ногой, выбежал. Через минуту меня перенесли в общую камеру. В камере я валялся два дня, ребята заботливо отхаживали бульоном. А вскоре нас, троих беглецов, вновь отправили на лесопильный завод.

ГРУППА РАБОТАЕТ.

— Ну что, добегались? — встретил нас начальник завода лейтенант Штайер.

— Отправить их на работу, да смотреть.

Наше появление среди военнопленных вызвало удручающее впечатление. В нас верили:

— Эти ребята проберутся...

Тут уж все решили, что в «полеты» итти бесполезно. На расспросы не хотелось отвечать.

Работавший в качестве писаря в канцелярии нашей партии Мейер как-то достал у местных жителей революционную литературу на русском языке. Мы с жадностью накинулись на ее чтение. Читки устраивали группой, скрываясь сперва от других пленных. Потом осмелели — перенесли в барак. Многие пленные охотно слушали, и лишь небольшой группе сторонников старого читка не нравилась. Они поднимали споры, скандалили:

— Если вы сами свернулись с пути, так не совращайте других.

Но их попытки мешать нам шумом успеха не имели. Тогда кто-то из них донес о наших читках австрийскому офицеру, начальнику партии.

Мейер откровенно поговорил с офицером, тот ответил:

— Нам это не мешает.

Читали запрещенные религиозные книги Толстого, брошюры против царя. Членов каких-либо революционных партий среди нас не было: разобраться в книжках толком могли лишь немногие. Просто — была потребность как-то осознать бродившие в каждом мысли. Выписали газету «Неделя», издававшуюся в Вене для русских военнопленных. Через Мейера, знавшего хорошо немецкий язык, знакомились и с другими газетами, что расширяло наш кругозор.

В районе шахт мы прокладывали новую дорогу. Рабочие в эти месяцы часто устраивали забастовки. Своими действиями и разговорами они еще более нас революционизировали.

Однажды после дневной смены, когда все мы сидели в бараке, вошел австрийский солдат, выше среднего роста, плечистый, с окладистой бородой. Подошел к нам и, окая, на чисто русском языке сказал:

— Здорово ребята. Как вы тут поживаете?

Пленные заинтересовались:

— Где ты научился, пан, говорить так хорошо по-русски?

— Какой же я вам пан? Паны те, что управляют.

Уселся с нами и предложил:

— Давайте-ка споем русскую. Давно я не слыхал,— и сам затянул здоровенным густым басом:

«Как по Волге реке, с Нижня-Новгорода,
Снаряжен стружок — как стрела летит...»

Подхватили. Спели несколько песен.

— Да, братцы, — говорил он, — служил я раньше Николаю, да надоело, опротивело. Вы-то в то время под стол пешком ходили, а мы кашу заваривали... Только повара-то из нас никудышные, сварить-то и не сумели. Как пришлось расхлебывать — кого свинцом накормили, а кто смел — тот два съел.

Мы не поняли его осторожных намеков:

— Ты говори толком, плетешь, что и не поймешь.

Оглянувшись кругом, понизил голос и с прибаутками рассказал, что он в 1905 году служил на броненосце «Потемкин». Рассказал о революции 1905 года, о восстании «Потемкина», о том, как пришлось удирать в Румынию. Оттуда он пробрался на Буковину, женился, принял австрийское подданство и до войны крестьянствовал. По мобилизации попал на фронт, а теперь покалечили и «вас, стрельцов, призвали караулить».

Тут же неугомонный потемкинец затеял спор со стариками-запасными:

— Если бы тогда Белостокский полк не стрелял в нас — мы бы понаделали делов!

Старик-запасник вставил слово:

— Солдаты тут непричем. Они бы поддержали, да офицерье не давало...

Потемкинец разъярился:

— Брось ты... офицерье! — передразнил он. — Жил ты в деревне — пням богу молился, а пришел на службу —

за крупу продался. Тебе зальют за воротник, ты и рад палить — нашего брата расстреливать.

Потемкинец часто приходил в барак и беседовал, но всегда с опаской. Любил он петь русские песни. Пел азартно, с тоской и широким развертом. Через месяц его перевели на другой завод.

...С сентября питание ухудшилось. С уха на ухо передавали сведения о голодных бунтах в Перемышле, Кракове и об отказе австрийских солдат разогнать демонстрантов. Эти слухи вносили оживление и вселяли бодрость.

— Похоже, что и в Австрии будет революция? Тогда уж непременно «замирение» выйдет.

В начале октября пленным, вместо обычного мяса или сушеной рыбы, во время обеда выдали сырую протухшую рыбу. Повара объяснили, что ее в суп бросить нельзя: она и его испортит. Пленные, собравшись гурьбой около кухни, кричали:

— Давай сюда лейтенанта!

— Требуют работы, а жрать не дают...

Кто-то предложил:

— Довольно, ребята, разговаривать! Побросаем рыбу на крышу конторы — пусть сушится.

Это предложение понравилось. Через минуту крыша покрылась кусками вонючей рыбы. Инициативно-революционная группа, как умела, раздула недовольство. Решено было без улучшения пищи не выходить в ночную смену. Когда разговоры распалились, в барак прибежал с конвоирами взбешенный Штайер.

— Кто вас научил бросать рыбу на контору?

Все молчали.

— О чем вы тут галдите?

В разнобой раздались голоса:

— Будете давать такую рыбу — все время будем бросать на контору!

— Пусть проветрится! Вонь из нее выйдет.

— Не пойдем работать!

Администрация опешила.

— Замолчать! Не все разом говорите. В чем дело?

Тут уж ребята стали выдавать зачинщиков с головой.

— Васька!

— Малоросов!

— Цилин!

— Говори, докладывай, как уговорились.

Мы вышли вперед и объяснили, что пленные эту рыбу есть не хотят. В последнее время кормить стали хуже. Работать тяжело. Пленные заявляют: не улучшится пища — они на работу не пойдут.

Администрация переглянулась.

— Хорошо. Пищи прибавим... — А вы, — обратились к нам, — идите в контору. Там расскажете подробнее.

В конторе лейтенант грозил отдать под суд и приказал отправить на гауптвахту. Гауптвахта представляла комнату в одном из бараков. Часовых гауптвахты, чехов и поляков, мы звали «старичками». Они не сменялись по целым дням. Скучали. Отворяли камеру, подсаживались, набивали трубку и заводили нескончаемые разговоры. Почему-то думали, что мы хорошо знаем о революции в России, и расспрашивали. Однажды на посту стоял седеющий, бородатый старик, рабочий из Пильзня, чех Лавичко.

Ребята спали. Он угостил меня куревом:

— Смотрю я на тебя, сынок, очень ты похож на моего Вацека. Надень на тебя австрийскую форму, на улице при встрече признал бы за сына.

— Где же он теперь, пан Лавичко?

— В плену у вас, в России.

— Жив будет, вернется, снова увидитесь, — обнадеживал я.

— Кто его знает. Мучается, как и вы, голодает небось. Да и парень он боевой, в обиду себя не даст. А у вас там, как рассказывают, тоже бьют пленных, плохо... В Сибири, говорят, и от холода мерзнут.

Наш разговор перешел на революцию. Старик спрашивает:

— Царя у вас нет, почему же русские мир не заключают?

Я уже начал разбираться в азбуке классовой борьбы:

— Был царь, а теперь буржуи, которым только подавай войны. Вот вы бы, пан Ловичко, у себя революцию устроили, оно, глядишь, и скорее войне конец.

Он тяжело вздохнул:

— Эх, сынок, про это говорить нельзя теперь, не то живо, — провел он по горлу и вверх: — повесят.

Лавичко рассказал про забастовки рабочих в Пильзне и заключил:

— Рано или поздно и у нас будет революция...

С этого дня мы стали со стариком дружить.

Вдобавок к ухудшению пищи у пленных порвалась обувь, перестали выдавать мыло, сбавили плату. Учтя опыт, пленные объявили однодневную забастовку. Конвоиры нас избивали прикладами и пытались выгнать на работу.

Пленные легли на нары и заявили:

— Убивайте, а не пойдем.

Зачинщиками забастовки оказались реакционно-настроенные старые солдаты. Убавка жалованья ударила по их сбережениям. Четырех из них арестовали и выслали в лагерь. Когда мы принесли им деньги и хлеб, собранные пленными, они растрогались. Один из арестованных расцеловал меня и сказал:

— Ты меня прости... Помнишь, я хотел тебя бить за то, что ты не встал на молитву...

«СТРЕЛЯЙ ЕГО!»

В ноябре 1917 года появились слухи о захвате в России власти большевиками. Слухи были подтверждены газетами. Пленные ходили радостные, верили, что больше-

вики заключат мир. Конвоиры тоже радовались и поздравляли:

— Скоро поедете домой, скоро мир.

Рабочие местечка проявили большой интерес к русской революции. Нам они говорили:

— Для кого вы работаете? Завод наш работает для фронта. Когда был Николай и буржуи — тогда чорт с ними, а сейчас свои люди у власти сидят. Они воевать не хотят, мир предложили. А вы против русского фронта работаете.

Мысль, высказанная рабочими, крепко засела в голову передовых пленных. По баракам начались разговоры. В конце декабря Цилин собрал наиболее надежных из «инициативно-революционной группы». Под большим секретом сообщил, что рабочие решили бастовать и требовать продовольствия и жалованья.

— Нам во что бы то ни стало надо рабочим помочь.

27 декабря ночная смена пленных собралась уже выходить на работу, но узнала, что рабочие нефтеперегонных заводов забастовали и просили поддержать их и тоже бастовать.

Ко мне подошли Цилин и Малоросов.

— Идем! Обсудим, что делать.

Наша группа собралась между штабелями леса. Разговор шел о том, как склонить пленных к забастовке. Решили до гудка на ночную смену собрать пленных в одном из бараков и устроить митинг. Перед администрацией выставить сначала экономические требования: улучшение пищи, прибавка жалованья, одежда. В случае удовлетворения этих требований — предъявить новые: потребовать, чтоб мастера не смели бить рабочих. И в конце раскрыть карты:

— Не желаем работать на русский фронт: большевики воевать не хотят.

Разговоры с администрацией поручили Цилину и мне. В барак собрались почти все пленные. Заперлись изну-

три. Конвойные ничего не подозревали. Администрация отсутствовала.

Шум, крики:

— Говорите скорей, в чем дело! Спать надо итти.

Цилин вскочил на нары.

— Товарищи! — начал он, и это новое слово, произнесенное в первый раз, погасило крики.

Наступила мертвая тишина.

— Товарищи! Цивильные[1] рабочие забастовали. Они больше работать не хотят — пока не дадут хлеба, не прибавят жалованья. Нам нужно тоже не выходить на работу, пока не улучшат пищу, не прибавят жалованья, не дадут белья, обмундирования... Притом, как вам известно, большевики предложили мир, а немцы с австрийцами все наступают. Не будем работать — скорей замирятся, скорей домой поедем.

Последний козырь, напоминание о желанном доме, вызвал рокот одобрения. Но уже через минуту раздались неуверенные голоса:

— А что, если жрать не дадут?..

— Штыками пырять будут?!.

— Голодом заморят?!.

На нары взлез возбужденный Малоросов.

— Что? Уже гайка заслабела? Испугались? Не дадут жрать — разбежимся по деревням. Охраны-то всего 12 старых хрычей, да и те теперь сидят — небось дрожат. Мира они что ли не хотят? Авось стрелять не будут. Сейчас будет гудок. Не выходить! Согласны?

— Согласны... Чего там!.. — сдались слабенькие.

— А теперь затевай пляску!

Гармошка заиграла «барыню». Составили круг, и началась пляска. Веселье прервал гудок на ночную смену. Гармошка неловко тренькнула и замолкла. Наступила тишина.

---

[1] Цивильные — гражданские, невоенные.

— Москали! Выходи на работу! — раздался голос конвойного. Вразброд понеслись выкрики:

— Скажи Штайеру, что не пойдем... Довольно! Поработали! Хватит с вас — попили крови!..

Отдельные возгласы, нарастая, слились в протяжный гул:

— Не пойде-е-м!..

Австриец быстро повернулся и вышел.

Когда в барак вошел с несколькими солдатами лейтенант Штайер, пленные выжидательно затихли.

У Штайера, всегда решительного, голос на этот раз неуверенно дрожал и срывался:

— В чем дело, москали? Почему на работу не выходите?

В ответ рев голосов:

— Не пойдем...

Лейтенант заткнул уши. Цилин по-немецки объяснил экономические требования военнопленных. Решение у администрации было, очевидно, принято заранее:

— Расходись по баракам. Ложитесь спать... А вы, — обратился лейтенант ко мне, Цилину и Малоросову, — будете мутить — не избегнуть вам тюрьмы.

На следующий день мы узнали, что бастуют и близлежащие лесопильные заводы. Ходили слухи о беспорядках в Перемышле.

Лавичко на ухо сообщил:

— По всей Австрии бастует много рабочих.

Пять дней до вечера 1-го января было спокойно: пленные отлеживались в бараках, ходили по селам. Растерянная администрация старалась лишь охранить завод. По ближним селам разгуливали жандармы и гнали пленных обратно в бараки.

На новый год многие из пленных были приглашены рабочими и жителями местечка на вечеринки. К вечеру барак наполовину пустовал.

После ужина в барак вбежал австрийский фельдфебель:

— Москали! Становись, выходи! Приехал генерал-инспектор, будет с вами говорить...

Построились. С заводского двора показалась группа администрации, несколько жандармов. Впереди шел старый генерал в полувоенной форме. Команда «смирно». Генерал вышел на середину строя и через переводчика задал вопрос:

— Чего вы хотите?

Из строя загалдели:

— Пищу улучшить!

— Жалованье прибавить!

— Ботинки давайте!

— Не все, не все сразу, — закричал по-чешски генерал, — один кто-нибудь.

— Васька, выходи, мы поддержим, — понеслись из строя голоса. Кроме меня из инициативной группы никого не было, все разошлись по местечкам. Пришлось выйти.

— Мувите чешски? — спрашивает генерал.

— Да, господин генерал.

— Что хотите? Почему не выходите на работу?

Я изложил генералу наши экономические требования и указал на побои со стороны администрации.

Генерал отошел, поговорил с директором и сказал:

— Передайте пленным, что ваша просьба удовлетворена и завтра вы выйдете на работу. Можете расходиться.

Я медлил уходить. Забастовке грозил срыв.

— Что еще вы хотите? — поднял брови генерал.

Я сразу начал с козыря:

— Большевики предложили вам мир — мы против них работать не будем. Отправляйте нас в Россию или в лагеря.

У генерала брови полезли на лоб, лица у администрации и у солдат вытянулись. Генерал крикнул:

— Разогнать по баракам!

Меня генерал вызвал в контору. Стараясь быть приветливым, он выпытывал, нет ли среди нас большевиков, не научил ли нас кто-нибудь из вольных рабочих.

— Никто не учил нас. Додумались сами пленные. Давно уже об этом говорили.

Меня отпустили. Из конторы я пошел в местечко и по дороге догнал Цилина и Малоросова. Они уже знали о происшедшем.

— Тебя, Васька, арестуют. Смотри держись,—подбадривали они.

— А пока суд да дело—пойдем на вечеринку, погуляем.

На вечеринке мне было не по себе. В час ночи не вытерпел и один пошел в барак.

В бараках тишина. Вошел в ворота. От караульного помещения подбежал с винтовкой конвоир:

— Стой! Ни с места!

Из караулки выбежал капрал с двумя солдатами.

Капрал—краковский поляк. Ненавидел русских и мечтал о королевстве польском. Меня он не любил за насмешки.

— Давай пропуск! Ты арестован.

— Не вы мне его дали, не вы отберете...

— Ах ты, русская свинья, разговаривать?—и капрал ударил меня по щеке.

Кровь бросилась мне в голову. Не помня себя, я ответил тем же. Он свалился.

Солдаты растерялись. Капрал вскочил и завизжал:

— Стреляй его! Стреляй!

Я прижался к деревянной стене караульного помещения. На крики прибежал фельдфебель с тремя солдатами.

— Взять его! И в караульное помещение. А завтра к рапорту.

Несколько старичков положили винтовки и стали с опаской подходить. На шум из бараков выбежали пленные и сгрудились у дверей бараков.

В это время ко мне подбежал высокий здоровый жандарм и прикладом ударил в грудь. Не устоял—упал. Меня поволокли в жандармский постерунок (пост). Начальник поста начал допрос:

— Кто научил бастовать?

В ответ на молчание—удары прикладами, ногами. Потерял сознание. Очутился утром на полу в камере постерунка. Все тело болело и хотелось пить. Рот ссохся. Провел рукой—кровь. Кое-как поднялся; шатаясь подошел к двери и постучал. Загремел засов.

— Пан, дай воды,—попросил я его.

Ругаясь, он втолкнул меня обратно в камеру. Я добрался до нары и лег в полузабытьи. Очнулся от лязга засова. В камеру вошел Цилин. Он рассказал, что забастовка сорвана, арестовано много рабочих. Остальные вышли на работу.

По настоянию Цилина меня провели к врачу. Заводским врачом был молодой мадьяр, враждовавший с австрийским командованием. Я рассказал ему об избиениях. Он возбужденно заговорил с жандармами по-мадьярски. Оставил в лазарете. Жандармы пытались взять меня обратно, но врач настоял на своем. Вечером пленные мне прислали хлеба, молока, колбасы, папирос... Как узнал после, лейтенант Штайер приходил к врачу:

— Такого негодяя нечего лечить; он идет под суд.

Молодой, безусый врач в своей ненависти к австрийцам был последователен: он меня не выдал.

ЛИБО ПАН, ЛИБО ПРОПАЛ.

Провалявшись в лазарете полтора месяца, я попал на лесоразработки в 15 верстах от завода. Начальником конвоя был Лавичко. Я кашлял кровью, и он начал меня лечить. В соседнем селе достал молока, сала, сырых яиц. Работой не утруждал.

К весне, против ожидания, я начал выздоравливать. В селе подружился с одной русинской семьей: стариком и старухой. Они были одиноки и радовались моим посещениям. Время от времени Лавичко отпускал меня для подмоги старикам в хозяйстве.

Русины, несмотря на бедность, живут чище и культурнее нашего крестьянина. Белые хаты напоминают украинские. В долинах—земли помещиков. Земельные же участки русин в большинстве случаев разбросаны по крутым склонам гор. Земля глинистая и бесплодная. Лошадей мало, да и карабкаться на них вверх не всегда возможно. Частенько приходилось видеть, как целые семьи русин от мала до велика мешками и корзинами таскали в гору истощенной земле навоз. Тяжелыми мотыгами долбили ссохшуюся глину. Этот каторжный труд наводил пленных на разговоры:

— Посади сюда русского мужика с широкой степи — он взвыл бы волком и сдох с голоду. Или полез бы на рожон: голыми руками отобрал бы у помещиков лучшую землю.

В лесу пленные с утра до вечера пилили громадные буки. С треском падали буки, охала сосна... Мы их распиливали на кружки и по узкоколейке отправляли на лесопильный завод. Труд тяжелый и изнурительный. Платили гроши. Пленные ночами таскали знакомым крестьянам дрова и меняли на молоко и картошку (русинам пользоваться лесом запрещалось).

В последних числах апреля неожиданно пришло распоряжение: всех пленных, работавших на лесозаготовках, собрать в заводские бараки.

Караул усилили. Были смутные слухи, что в перемышльском концентрационном лагере взбунтовались австрийские солдаты, привезенные с Украины, заключившей мир с Австрией и Германией.

В июне меня неожиданно арестовали и переслали в Перемышль на суд по делу «об оскорблении действием

капрала и отказе от работы». Присудили к 1 году тюрьмы. В Перемышле тюрьмы были переполнены взбунтовавшимися австрийскими солдатами, возвратившимися из русского плена. Они говорили:

— У вас, в России, хорошо: царя нет, буржуев нет. Текайте в Россию! Мы теперь большевики. Воевать не хотим.

Несколько дней спустя меня перевели в Бродскую тюрьму, находившуюся в 7 верстах от границы. Из общей камеры мне показали пограничный лес.

Я простаивал целыми днями у окна и смотрел в сторону России. Из тюрьмы бежать было трудно; до сих пор не было ни одного удачного побега. Мог помочь только случай, и я не терял надежды. Решил добиться выхода за ворота тюрьмы, хотя бы с конвойным.

Однажды попросил начальника отпустить меня с часовым в город, кое-что купить.

Против ожиданья отпустил.

— Через полчаса возвращайтесь.

Но меня он больше не видал.

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

НЕЗАМОЖНА УКРАИНА.

Я давно уже миновал пограничный лесок и открыто шел по шпалам. Спутники мои—два контрабандиста, переведшие меня через границу мимо всех постов— свернули в проселок. От их рассказов о том, что происходило в пограничной полосе и во всей Украине, у меня осталось только смутное впечатление, что опасность еще не миновала и до дому вряд ли скоро доберешься.

— Большевики?..

Пожилой контрабандист, как мне показалось, странно переглянулся со своим товарищем, молодым деревенским парнем.

— Как же, большевиков и на Украине много. Только вот найти их ни гайдамаки, ни немцы не могут! Так что ли, Опанас?..

Молодой парень утвердительно закивал головой.

Гайдамаки были для меня пустым звуком, но при упоминании о немцах сердце ёкнуло. Сразу вспомнились годы плена и те недавние минуты, когда я, неожиданно повернувшись, сбил с ног подвыпившего конвоира, стукнул его булыжником по голове и оставил полумертвым в придорожной канаве. А может быть и мертвым... Что делать? Жаль тюремщика, но свобода дороже... Тем дороже она теперь. Я недоверчиво покосился на своих проводников.

— Какие немцы? Вы куда меня ведете?

— Не бойсь, парень, ведем куда треба! А только немцев там хоть отбавляй...

Они рассказали мне, что советская власть на Украине не удержалась, что немцы заняли почти всю Украину, а у власти поставили гетмана Скоропадского.

— Тут вот, по железной дороге и в городах рабочие все за большевиков. Крестьянство по деревням еще ни туды, ни сюды. Есть повстанцы-партизаны, то же за советы, а есть гайдамаки, гетманская армия. Та больше из городских да из богатых хуторов. В деревнях ее боятся.

Все это было для меня незнакомо. Узнал еще, что фронт где-то за Киевом, но войны будто сейчас нет, а есть демаркационная линия, тоже вроде границы. За ней уж настоящая Советская Россия и красногвардейцы.

Контрабандисты попрощались со мной, когда вдали замаячили постройки станционного поселка. Там я встретил и немцев и группу перебежчиков-пленных, к которой и присоединился, чтобы вместе пробраться в Россию.

На утро офицер-комендант объявил перебежчикам:

— Придется вам посидеть в Радзивилове: юго-западные дороги забастовали.

Пошли на станцию, но боялись, что немцы заберут обратно в плен. Немецкая охрана на станцию не допустила. На четвертые сутки рано утром проснулись от паровозного гудка. Обрадовались:

— Сейчас поедем!

Из Киева пришел смешанный поезд. Бригада немецкая. На тендере паровоза и впереди—пулеметы. На двух площадках—орудия.

Во всем, что делалось, мы не разбирались. Смысла событий не уясняли.

Пошли к коменданту:

— Может быть поезд пойдет обратно?..

Тот переговорил с начальником поезда. Немец ответил:

— Обратно пойдем — может быть, заберем, а сейчас идем в Броды, за нашими солдатами...

Решили ждать возвращения поезда.

Минут через 15 в стороне Брод началась ружейная и пулеметная стрельба. На станции поднялась суматоха. Немецкие солдаты выкатили пулеметы, зарядили винтовки.

С вокзала все в страхе разбежались. Оказалось, что железнодорожники-забастовщики спустили под откос немецкий поезд.

Ночью в местечке начались аресты железнодорожных рабочих и служащих. Пленные были угнетены:

— Хозяевами оказывается и тут немцы...

Вечером один из перебежчиков-украинцев собрал вокруг себя группу и таинственно сообщил:

— Вот, хлопцы, какая штука. Говорил с нами украинский комендант. Немцев, грит, нужно гнать; грабят нашу Украину; хлеб, сало увозят. Подговаривайте, грит, хлопцев и уходите в леса — оружие там вам дадут... Будем бить немцев...

Украинцы колебались:

— Чи итти, чи ни?

Русские заявили:

— Тут сам чорт не поймет — что делается. Нужно сперва домой итти да толком разобраться. Там будет виднее, кого бить. А сейчас уже навоевались — хватит с нас!

Я отозвал в сторону одного пленного из Курской губернии, земляка.

— Давай, брат, отсюда драпать. Сложишь тут голову, не зная, за кого...

Решили итти на Кременец, а оттуда пробраться до Киева. За нами потянулись и другие.

К полудню зашли в безлюдное село: весь народ в поле. Лишь в одной хате нашли старика, который дал нам хлеба, сала и посоветовал:

— Тикайте швидче, хлопцы, бо издят гайдамаки и у кого нема нияких паперов (документов) — усих забирают...

Пошли осторожнее, конных старательно обходили. Ночевали в поле, в копнах ржи. К вечеру, снова проголодавшись, решили зайти в село и заночевать. В одной из бедных хатенок хозяин — сам бывший солдат — встретил нас радушно. Рассказывал:

— Плохо, хлопцы, дело. Сперва власть была наша, а теперь опять паны забрали. Отобрали мы у панов землю, а пришли немцы — посадили царем пана Скоропадского. Тут паны и начали с нашего брата шкуру драть... Утром сегодня приехал к нам офицер, сын помещика, с тремя гайдамаками, собрал сход и говорит:

— В 24 часа собрать все, что разграбили у батьки. Не то, говорит, плохо будет.

На сходе крик поднялся:

— Шукайте ваше добро у лысого батьки!

Офицер выхватил шашку, ну тут и пошло: растерзали мы офицера и гайдамаков на месте...

Тоже и рядом было, в Кусках и в Ощербях, и под Острогом. Либо пан шкуру сдерет, либо с него шкуру хлопцы спустят...

Тут мы начали понимать, что такое гетманщина и гайдамаки.

— Наши хлопцы, — закончил он, — которые гайдамаков поубивали, забрали винтовки и разбежались по лесам. А мы не к ночи, так к утру ждем гостей...

Он тяжело вздохнул и, помолчав, посоветовал нам итти в клуню спать:

— Придут немцы, разбужу — убегайте в лес. Туда, видать, и все село пойдет.

Спать нам пришлось около часа.

— Вставайте, немцы идут.

За селом послышалась стрельба: повстанцы встречали непрошеных гостей. На улицах поднялся крик и плач.

Спотыкаясь и путаясь в огородах, как угорелые, бежали мы до леса. Винтовочную стрельбу позади заглушил орудийный гул. Через час обернулись — полыхает над селом багровое зарево. Гетманщина торжествовала.

БЛИЗОК ЛОКОТЬ...

Без документов дальше итти было опасно, везде ловили большевиков. От пленных, пришедших раньше нас, мы узнали, что за взятку от 3 до 10 рублей николаевскими через писарей воинского начальника можно достать проходное свидетельство. Денег нет. Пришлось променять свои добротные синие брюки на вшивые отрепья. У воинского начальника взятка была обставлена без волокиты. Нужно было только написать на бумажке свое имя, фамилию, куда пробираешься, и, завернув вместе с деньгами, подать то-и-дело выходившему «прогуляться» по двору писарю. Так и сделал:

— Господин писарь, вот мой адрес: напишите проходное свидетельство.

— Хорошо, через час получите!..

Он скрылся, но не надолго. Вышел и подозвал:

— За двоих шесть мало. Нужно красненькую.

Я показал ему свой костюм — продавать, мол, больше нечего! — и нам удалось проходное свидетельство получить. За шесть рублей мы избавились от недельных ожиданий. На нас смотрели с завистью те, кто не мог дать взятки.

На железных дорогах забастовка продолжалась. Изредка лишь проходили немецкие эшелоны. К одному старому унтер-офицеру эшелона я обратился на немецком языке с просьбой. Ему понравилось:

— Ишь, научился говорить по-немецки! Молодец! Вас двоих возьмем.

Пустили в вагон, дали хлеба.

— Ложитесь, паршивцы, спать!.. — пробурчал унтер.

Ночью мы проснулись от ружейной и пулеметной стрельбы. В вагоне пусто. Немцы рассыпались вокруг эшелона. Из леса откликались редкие ружейные выстрелы повстанцев и скоро затихли. Поехали дальше. В Казатине узнали, что вечером отправляется воинский эшелон на Киев. Станция оцеплена, пробраться трудно. Удалось все же устроиться. Один, по виду инженер, спешил на поезд с кучей чемоданов.

— Господин, дозвольте поднести вещи!

Он спешил:

— Скорее, скорее давайте, а то поезд уйдет!

С ним мы прошли к эшелону. Опять выручил немецкий язык.

— Живо лезьте на вагон и лежите тихо, чтоб офицер не видал.

С ловкостью кошек взобрались мы на крышу. Чувствовали себя счастливцами.

Крышных пассажиров набралось порядочно. Но в Фастове всех стали сгонять гайдамаки. Я начал было упорствовать, но пуля пролетела так близко... Слезли, однако от эшелона не отстали. Поезд обошли, вскочили на ходу на буфера — и снова на крыше. Ночью дождь с сильным ветром. Продрогли до костей. В Киеве узнали, что к демаркационной линии в сторону Курска идут поезда. Немцы хозяйничали и тут. В ожидании поезда мы расположились в буфете.

Недалеко за столиком сидел русский офицер в форме полковника. К нему подошли пьяные немецкие солдаты:

— Уходи, дай нам место!

Тот начал было протестовать.

— Тебе говорят, уходи!..

Полковник молча пожал плечами и ушел.

У меня было злорадное чувство: господ офицеров начали гнать. Вот тебе и самостоятельная Украина!.. Но радовался я недолго.

— Кто такие? Ваши документы!

Мы торопливо полезли за пазуху, достали документы, но они так размокли, что прочитать их было невозможно.

Гайдамаки ощетинились:

— Это что за документы? Откуда вы? Из Курской и Тульской?

Они стали подозрительнее:

— Москали? Большевики наверное?

Через минуту мы очутились перед комендантом — немецким офицером. Вся надежда и тут на немецкий язык. Обратился к нему и разъяснил наше плачевное положение. Вывезло. Повыспросив всю подноготную, он дал пропуск до демаркационной линии.

В вагоне гайдамаки на все корки ругали большевиков, но было и сожаление:

— Не мы, а немцы хозяйничают на Украине.

Вот и последняя станция. Пошли по лесной дороге, рядом с насыпью. Сердце радостно и тревожно бьется.

— Сейчас будем в России...

Немецкий часовой пропустил. Второй, гайдамак, остановил:

— Идемте за мной.

Попробовали возразить — замахнулся прикладом.

— Ну, — думаем, — опять начинается мытарство...

На наши крики из будки вышел немецкий солдат. Посмотрел документ.

— Раз есть немецкий пропуск — пропустить без разговоров.

И через два часа мы уже встретили первого красногвардейца с большим красным бантом на груди.

МЕШЕЧНАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

У загорелого молодого парня кепка на затылке, на поясе маузер. Он внимательно проглядел пропуск, осмотрел нас самих.

— Домой поедете?

— Да конечно домой, товарищ комиссар.

— Домой так домой. Отдыхайте, пока поезд подойдет.

Расположились на деревянной платформе полустанка. Огляделись, ощупали себя. Живы, целы и — в Советской России. Она! Вот на тоненькой мачте красный флаг. Под ним человек с винтовкой. Брюки военные, кожаная тужурка с красным бантом. На голове черная фуражка. Словно и не солдат, а так, кончил работу, взял винтовку и стоит, сторожит. Будет спокойнее — поставит в угол, пойдет работать...

Кроме часового на платформе еще группа красногвардейцев. Больше такие же, в кожанках с красными бантами. Есть и военные, видать солдаты. Погон нет, никаких знаков. Держатся вольно, смело. Шутки, смех, разговоры.

Подошел поезд из Курска. А на нем «благородные» беженцы папаши, мамаши с жирком, дочки в рюмочку. Это буржуазия из Совдепии бежала в страну Скоропадского. Поезд окружили. Начался просмотр вещей и проверка документов. Ахи, охи, обмороки, слезы и протесты не помогали. На наших глазах у «бедных» беженцев было отобрано много золота, мануфактуры. Человек двадцать подозрительных повели в Чека. Остальным в напутствие сказали:

— Можете проваливать дальше пешечком!

Нагрузились беженцы мешками, корзиночками, картонками и чемоданами — пошли.

Вместо них на платформу повалила из ближайших деревень другая публика. Сразу я не разобрал — откуда они, что за люди. На деревенских не похожи, для города больно просты. Почти у всех мешки, коробки, баночки.

Когда подали состав на обратный путь — паровоз толкачом сзади, в теплушки полезли с боем.

Мы недоумевали:

— Чего везете?

— Мучицу везем, хлеб, картошку. Голод у нас страшный.

Забрались в вагон. Митюха сдрейфил.

— Там голодали и тут голод...

Перед отправкой поезда подошел комиссар красногвардейского отряда:

— А ну, мешечники, слезай!

Мы слова «мешечники» еще не слышали. И вместе с тетками и дядьками, обвешанными мешками, кубарем скатились из вагона. Комиссар нас узнал, расхохотался:

— Вы-то чего? Мы гоним тех, кто спекуляцией занимается да мешечную конституцию разводит!.. Вы свои люди, — садитесь.

Залезли обратно. В вагоне стало просторнее.

Митюха через несколько остановок был уже дома. Утром я бродил в Курске голодный. Мешечники на станции сидят, аппетитно жуют хлеб. Зло брало. Просить было стыдно: в своей стране и заниматься нищенством! Вечером сел в поезд. Четвертая станция, Зверево, среди мешечников вызвала панику: «заграбиловка», «заберут все». Стал расспрашивать, что это такое: «заграбиловка».

— Заградительный отряд там. Все, сволочи, отбирают... Везем вот — кушать нечего...

Я смотрел на хитрые лица и не верил. Не в еде у них дело. Один подсел ко мне.

— Я везу детишкам мучицы два мешка, один наверняка могут отобрать. Возьмите-ка один, положите к себе. Скажите, что ваш, один не отберут...

Я отказался.

Орел. Через 80 верст я дома. А пока голодно. В Орле встретилась партия возвращавшихся домой пленных австрийцев.

Поговорили. Предупредил:

— Напрасно едете. Отсидите месяц в концентрационном лагере, очистят вас от большевизма, а потом —

на итальянский фронт. И с родными не дадут повидаться.

На австрийцев нашло раздумье.

Некоторые стали поговаривать, не остаться ли в России. Большинство уехало. С ними я послал в Иозефштадт письмо товарищам.

Провожал — подумал, что и сам на их месте никаким уговорам не поддался бы. Не то страшно, что на горе приедешь, а то, что издали ничего сделать не можешь. За время путешествия по незаможной Украине, находившейся под сапогом Скоропадского и немецких оккупантов, за три дня пути с мешечниками мне стало ясно, что много дел еще и в Советской России, даром что скинули ярмо. Последние версты сидел, считая чуть ли не стыки на рельсах, по которым громыхали колеса. И радость душила и сомнения: что-то встречу я дома, в семье, в деревне?..

«ЗА КОГО ВЫ, ТОВАРИЩ?..»

Домой попал не сразу.

В уездный городок, где когда-то я записался добровольцем (когда это было? Как будто целая жизнь прошла...), поезд прибыл рано утром и дальше не пошел. Бродил по городу, по базару, по знакомым площадям и переулкам. Кругом тишина, еще спят. Знакомых много. Останавливался у ворот, смотрел, зайти не решался. Вши ползали даже по ботинкам. С голодухи, с усталости закружилась голова, сел на скамеечку у ворот знакомого учительского домика и потерял сознание. Очнулся на кровати учителя, раздетый, разутый, вымытый.

В этот день говорили мало. Рассказал, откуда взялся. Учитель ахал и охал, присматривался. На утро после чая начал выспрашивать.

— За кого ты пойдешь теперь: за большевиков или за нас?

—За кого это — за вас?,

— За левых эсеров.

Я попросил разъяснить, в чем дело. Его речь была негодующей:

— Нас в Москве разогнали. Захватили всю власть себе. Крестьян продразверсткой грабят. С такой политикой они долго не продержатся...

Говорил он с опаской и, видя мое молчание, посоветовал:

— Отдохни, приезжай еще, поговорим...

Собрался в деревню. На улице встретился с другом Алешкой, росли вместе.

— Куда ты теперь?

— Измотался я, думаю отдохнуть, осмотреться.

Поговорив со мной, и он спрашивает:

— Ты за кого — за большевиков, за эсеров?

— Да как сказать. В плену мы почти все за большевиков были... А сейчас все новое — разберусь, скажу.

Я был оглушен. Все набрасывались на меня и требовали ответа.

— «Где же правда?» — думал я.

Отец дома ругал большевиков:

— Отбирают хлеб. Обижают мужиков. В Москве у власти засели жиды. Землю дали, да не в собственность — крепости нет никакой.

Я возразил:

— Мы в плену за Ленина стояли, считали его за первого человека. А насчет жидов — это я еще на фронте изучил. Старая погудка.

Отец отмахнулся:

— Поживешь, увидишь, тогда другое запоешь.

В одно из воскресений приехал мой дядя, тот самый фельдфебель, который сманил меня своим письмом в добровольцы. За обедом они с отцом выпили бутылочку самогона. Разошлись, заголосили. По обыкновению, отец ругал большевиков,

— Власть в Москве захватили жиды, — напирал он на свое. — Только и знают, что расстрелами занимаются да мужика грабят.

— Воевать не захотелось товарищам, — вторил ему дядя, — свободы надо, по домам скорей. Вот, немцам пол-России и отдали. Что говорить — сами виноваты. Распустили солдат. В свое время надо было в ежовые рукавицы взять, не любезничать, как Керенский, а сразу расстреливать и плеток всыпать побольше.

Как ножом полоснули меня эти слова. Вспомнил порку на площади в Сокале и все издевательства офицеров.

— Ах ты, сволочь этакая! Мало солдатской крови попили, шкуры офицерские? Еще хочешь?

Отец оторопел. Дядя поднялся, кулаком по столу стукнул:

— Да ты большевик!?...

— Не большевик еще, а за них.

— Сопляк ты после этого; молод еще отцу с дядей указывать!..

Я хлопнул дверью и вышел. Дядя в тот же день уехал.

С этого дня между мной и отцом каждый день споры. День работаем в поле, а вечером доказываем друг другу свою правду. Он оценивал программы партий, как купец товар.

— По эсеровской программе мужику надо жить. А что большевистская? Чего она дает? Даже кадетская мужику более подходящая...

Наши споры заходили за полночь. Старуха мать, опасаясь драки, уговаривала:

— Да бросьте вы! Когда вы кончите? А? Да ты, старый чорт, уступил бы. Он молодой, поездил по свету — может, и больше знает.

— Замолчи, старая дура, знает он. Набил голову дурью.

Тогда мать обращалась ко мне:

— Ты, сынок, помоложе, уступи. Он все-таки отец тебе...

Я замолкал и уходил спать.

К концу лета пошли вести о контрреволюционных восстаниях. Пришли газеты с вестью о ранении Ленина. У меня болью сжалось сердце. Я плохо еще понимал большевиков, но за Ленина был готов отдать жизнь.

Отец каркал:

— Доработались большевики. Скоро конец им.

Однажды я чинил телегу — разбилось колесо.

Подошел отец:

— Вот, смотри, колесо разваливается, а железа на шину нету. Все твои большевики.

Я вскочил:

— Да когда ты, старый чорт, кончишь? Землю ты получил, и все тебе нехватает? Поменьше бы по базарам путался, умнее бы стал...

Спор разгорался. Отец размахнулся на меня палкой. Я отступил на шаг, сжал кулаки:

— Не подходи, а то плохо будет.

Этого отец не ожидал. Посмотрел на меня, опустил руки, заплакал:

— Дождался сыночка... — и пошел в избу.

Я решил, что мне с отцом не по дороге, и в тот же день переехал в город к Алешке.

НА НОВЫЙ ПУТЬ.

В сентябре новые тревожные вести. Через город прошли в Тулу эвакуационные обозы. В городе, на базаре, в деревне кулаки зашушукались, заегозили. Бедняки приезжали в город угнетенные.

Местная партийная организация объявила мобилизацию на фронт. Призывали добровольцев из бывших солдат, из рабочих и крестьян. Я пошел в уездный комиссариат, записался. Как взводного командира меня назначили инструктором всевобуча. Обучали в нашем городке больше

мещанскую и чиновничью молодежь. На всеобуч они ходили с неохотой. Ротные и часть взводных командиров были из старых офицеров. На настроение обучающихся они смотрели снисходительно. Младшие командиры были настроены советски, и на этой почве между командным составом происходил разлад.

Соберутся отделенные и рассуждают:

— На свою шею эту сволочь обучаем.

Мне такая обстановка была не по нутру. Но на мои рапорта был ответ:

— Спецы нам нужны. А молодежь подтягивайте да подбирайте из них понадежнее. Остальные будут окопы рыть.

Пришлось смириться.

В ноябре проводили митинг по вопросу о вербовке в члены партии. В школьном зале набралось до 500 человек. Я видел своих знакомых гимназистиков, торговцев, чиновников. После доклада председатель партийного комитета предложил:

— Кто сочувствует нашей партии, кто хочет бороться вместе с нею — пусть подает записки о вступлении «сочувствующим».

Публика переглядывается, жмется, потом тянется к карандашам.

Через 5 минут стол президиума завален записками. Подало около 400 человек.

В президиуме замешательство. Объявляется перерыв. Мы с Алешкой остались сидеть.

— Смотри, — говорю, — это все гады, которые ждут, не дождутся конца советской власти, подали записки, боятся со службы их уволят. Неужто их примут? Не стерплю — выступлю.

— Вали, вали, — одобрил он.

После перерыва мне дали слово.

— Товарищи! Прежде чем подавать записки, многим надо было бы подумать: как он, подходит или нет,

и пойдет ли с охотой на фронт. Если правду говорить я знаю тут многих, которые только и думают, как бы скорее советскую власть спихнуть и большевиков подушить. А сегодня они подают записки. Пусть, пока не поздно, назад берут...

Я от волнения задохнулся, махнул рукой и сошел. Раздалось несколько хлопков со стороны президиума и одиночек-партийцев. После меня ораторы из президиума выступали в том же духе. Было объявлено, что тут записи производить не будут. А кто действительно хочет вступить в партию, пусть подает заявление в партком. На другой день поступило только 15 заявлений, в том числе и от меня.

Меня приняли, а через два дня послали в деревню учитывать урожай. Рабочие Тульского оружейного завода приехали за хлебом. Отчисление было добровольное. Агитировали крестьян. Кое-что собрать удалось, но кулаки больше попрятали. Надо было достать хлеб во что бы то ни стало, — от работы завода зависела оборона.

Дали мандат с правами уполномоченного уездного ревкома. В волисполкоме никого не застал. По помещению уныло бродил сторож.

— Беда, — встретил он нас (со мной ехал зампредволисполкома), сегодня ночью разгромили совхоз, сады и мастерские...

— Где же председатель?

— Куда-то ушел. Боится мужиков. Милиционер испугался и уехал в город.

— А что же мужики говорят?

— Что говорят? Говорят — во время революции не попользовались, а теперь помещики идут, все равно им достанется. Лучше уж сами разберем...

Из расспросов я узнал, что в разгроме из 500 дворов деревни участвовало только около 200 наиболее зажиточных. На этом и решил сыграть,

Волисполком помещался в бывшей конторе княжеского имения (Гагарина). Через овраг виднелось село. На выгоне шум, крики, мужики собрались на сходку.

В 2 верстах — телеграф. Послал ревкому телеграмму:

«...Вышлите немедленно своего представителя и вооруженную силу. Волисполком разбежался. С зампредисполкомом ухожу на сходку».

— Пойдем, — говорю, — Сидорыч, с мужиками потолкуем.

Сидорыч, крепкий бородач, крестьянин этого же села.

— Опасно итти, Василий Семенович. Убьют, пожалуй...

Однако пошел и посоветовал:

— Карабин-то спрячь: увидят — хуже разъярятся.

На сходе галдеж. Завидев нас, притихли.

— Эй, смотри, власть идет!

Сходка расступилась, и мы вошли в середину. Круг сразу замкнулся. У меня задрожали поджилки, но бодрился. Кое у кого видно оружие, колья, топоры.

Молчат.

— Что такое, — спрашиваю, — чего шумите?

Навстречу молодой загорелый парень:

— Что тебе тут надо?

— Поговорить о разных делах и промежду прочим — совхоз-то растащили раньше времени напрасно. Беляки сюда не дойдут, против них много войска выслано...

Заинтересовались, где белые.

— Сегодня далеко, а завтра еще дальше будут...

Мужики затихли.

— Дайте-ка я вам кое-что скажу. Не понравится — свое скажете.

— Послухаем, что будешь петь.

Стал на бревна. Руку держу на нагане.

— Зачем, — спрашиваю, — растащили совхоз, разграбили мастерские, поломали сады? Ведь это все народное. Революционный комитет вас за это по головке не погладит.

Давешний парень опять подскочил ко мне:

— Ты что, нам угрожать?.. мать-перемать... За что мы кровь проливали? — Он бил себя в грудь, размахивал руками.

Несколько мужиков вступилось:

— Пусть говорит. Ты больше всех грабил, потому так и орешь. А нам отвечать...

— Дай человеку сказать.

— Говори, товарищ!

Его оттеснили.

— Долой, — не хотели сдаваться с другого конца, — угрожать нам? Ишь ты, ревком...

— Обушком его...

Перелом в настроении учел:

— Вижу, не все участвовали в разгроме совхоза. Будут отвечать те, кто это делал. А советская власть крикунов не боится. Сейчас расходитесь, а завтра с утра несите обратно растащенное...

Слез, толкнул Сидорыча: выйди, мол, скажи; ты же власть...

— Да я не могу...

— Выходи, выходи, не бойся!..

Он снял шапку:

— Братцы, товарищи, нехорошее дело сделали. Давайте вынесем резолюцию — собрать все и просить уездную власть простить нас: больше это не повторится...

Его выступление поддержали.

За ним выскочил на бревна всклокоченный мужичонко:

— Что я, воровал, грабил — что буду просить ревком меня простить? Грабили-то, мы знаем кто! За что половина села будет страдать? Кто грабил, тот пусть и просит! — он спрыгнул.

Я его поддержал:

— Правильно сказал товарищ. Резолюцию примем такую: завтра утром все снести в совхоз.

Большинством резолюция была принята.

В волисполкоме встретили председателя.

— Где, — говорю, — милый человек, был?

— Боялся, чтоб не убили...

Сидорыч — середняк, совестливый, правильный мужик. Он собрал шесть бедняков, чтобы выяснить, кто заводил грабеж.

— Кто побогаче, тот и грабил. Слух есть, что и поп к этому подстрекал...

Ночью приехал отряд. Зачинщиков арестовали, на кулацкую и зажиточную верхушку наложили контрибуцию.

Новая сходка прошла бурно. Беднота требовала проучить кулаков. Через день село вошло в берега.

В городе меня встретил отец, узнавший от Алешки о всех моих похождениях.

— А-а-а! Новоиспеченный коммунист — здравствуйте!..

— А тебе что, — отвечаю, — больно?

— Ты с отцом-то посоветовался, вступать тебе или не вступать в большевики? Я тебе отец или не отец?

Бывшие в комнате инструктора захохотали:

— Вот это номер!

— Довольно, — обрезал я отца, — пожил до войны твоим умом — хватит.

Отец рассвирепел.

— Ах ты, сукин ты сын, а? Уж и отца не признаешь? Хорошо, — пригрозил он, — прибежишь еще ко мне, когда тебе пеньковый ошейник приготовят...

Ребята, услышав про пеньковый ошейник, возмутились:

— Кому ты грозишь, старый?

Отец, видя такой отпор, махнул рукой.

— Чорт с тобой, пропадай! Больше ты мне не сын, и знать тебя не хочу. Так пойду и матери скажу...

— Ладно, иди. Я уж сказал тебе, что нам с тобой не по дороге...

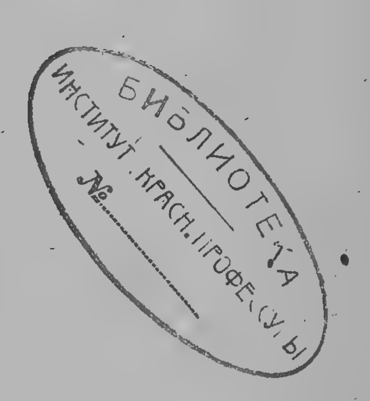
Он не дал мне договорить, подошел к двери и погрозил кулаком.

— Может быть, еще встретимся? Я тебе, сукиному сыну, первому пулю в лоб!

— Это еще посмотрим — кто кого...

Так мы с отцом разошлись на всю жизнь.

В конце февраля в городе сформировался партизанский полк, и я ушел с ним на фронт — красноармейцем-добровольцем.



СОДЕРЖАНИЕ

БИБЛИОТЕЧКА К XI ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ

КРАСНАЯ АРМИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Быстрицкий. Бритва. Ц. 16 к.
Курдюмов, В. Неузнанный друг. Ц. 25 к.
Курдюмов, В. Под маской друга. Ц. 16 к.
Линовский. Под Петрозаводском. Ц. 12 к.
Максимов, М. Курсант Музафар. Ц. 20 к.
Сергеев. Адам Поляков. Ц. 16 к.
Сытин, А. В песках Каракума. Ц. 16 к.
Федоров, П. Кузнец-командир. Ц. 12 к.
Фурманов, Д. Конец Чапаева. Ц. 16 к.
Фурманов, Д. Под Уфой и Уральском. Ц. 12 к.
Фурманов, Д. Красный десант. Ц. 16 к.
Гайдар, А. Угловой дом. Ц. 8 к.
Митницкий. Молодняк. Ц. 16 к.
Ткалич-Днепровский. Данило с Полтавщины. Стр. 32. Ц. 8 к.
Штерн, Г. Донесение. Ц. 8 к.
Сытин, А. Под южным солнцем. Ц. 16 к.
Выпряжкин. Красные клинки. Ц. 15 к.
Дементьев, Д. На фронтах. Ц. 15 к.
Костерин, А. Летчик. Ц. 15 к.
Криштопенко. Военная тайна. Ц. 15 к.
Москвин, Н. Подрывники. Ц. 15 к.
Чудинов, В. Партизан Непомнящий. Стр. 32. Ц. 15 к.
Ширяев, П. Бойцы окраин. Ц. 15 к.
Шундеев. Разгром Колчака. Ц. 15 к.
Сотов, С. Атаман Фролов. Ц. 15 к.
Новиков-Прибой. Зуб за зуб. Ц. 18 к.
Апухтина-Гоппе, Н. Город герой — Красный Грозный. Ц. 15 к.
Булах, В. Как рабочие защищали Оренбург от белых. Ц. 15 к.
Дмитриев, Н. От Волги до Байкала. Ц. 18 к.
Зеленский, П. 1-я Конная в боях. Ц. 15 к.

(30 книг вместо 4 р. 40 к. за 2 р. 70 к.).

СОРОК КОПЕЕК